



## “Роскошествуй, веселая толпа...”

### Пирь в русской лирике первой трети XIX века\*

© Е. Н. ФЕДОСЕЕВА,

кандидат филологических наук

Чем шире круг друзей, тем веселее пирь, тем живее надежда на будущее бессмертие. В послании Вяземского “К партизану-поэту” (1814 или 1815), обращенном к Давыдову, центральной фигурой является Бурцов, друг и “собутельник” Давыдова, тоже гусар, легендарная, яркая личность. Вяземский, не имеющий случая познакомиться с Бурцовым лично, тем не менее, чувствует себя близким ему по общему другу и вместе с Давыдовым разделяет печаль о погибшем товарище. Потеря друга заставляет ощущать сиротство и в собрании пирующих: “от сиротствующих пиров ты был оторван смертью жадной”.

Скрепляет узы дружбы не только общее веселье, но и общая печаль, по кругу передаются и чаша радости и “горькой скорби” чаша. “Водяные слезы”, пролитые на могиле лихого гусара, – измена памяти спящего “сном вечности и хмеля” Бурцова. Поэтому Вяземский избирает другой путь для выражения своих чувств: на могилу Бурцова изливается чаша с вином, он как бы снова становится участником этого пира.

Круг “избранных” у Давыдова шире, чем у всех других поэтов. Это целая дружная гусарская семья. Именно к ней обращен призыв поэта: “Роскошествуй, веселая толпа, В живом и братском своеволие!” (“Гусарская исповедь”, 1832). Чем многочисленнее круг друзей, тем больше у него прав на существование, тем активнее он может повлиять на жизнь. Сплетение воедино энергетик людей, одинаково чувствующих, создает атмосферу особого мира. Утраты, напротив, подтачивают основу этого круга, размыкают его вовне, подвергая его опасности растворения, поглощения внешним миром.

Пирь – возможность для встреч не только друзей, но и избранных: “певцы пируют, слепая чернь благоговей”:

\* Окончание. См.: Русская речь. 2009. № 2.

Что восхитительнее, краше  
 Свободных дружеских бесед,  
 Когда за пенистою чашей  
 С поэтом говорит поэт?  
 (“Тригорское”, 1826)

Речь поэтов зачастую носит эзотерический характер. Она отличается особым поэтическим словарем, пристрастием к аллюзиям, доступным только посвященным. В качестве примера можно привести завершающие строки стихотворения, включенного в текст письма Пушкина к Я.Н. Толстому:

Вновь слышу, верные поэты,  
 Ваш очарованный язык...  
 Налейте мне вина кометы,  
 Желай мне здравия, калмык! (1822)

Послание обращено к членам кружка “Зеленая лампа”. Приведенное высказывание не требует комментария для тех, кто принимал участие в заседаниях, но нуждается в разъяснении для непосвященных. Разъяснение дается Я.Н. Толстым: “Заседания наши оканчивались обыкновенно ужином, за которым присутствовал юный калмык, весьма смышленный мальчик. Само собою разумеется, что во время ужина начиналась свободная веселость; всякий болтал, что в голову приходило; остроты, каламбуры лились рекою, и как скоро кто-нибудь отпускал пошлое красное словцо, калмык наш улыбался насмешливо, и наконец мы решили, что этот мальчик всякий раз, как услышит пошлое словцо, должен подойти к тому, кто его отпустит, и сказать: “Здравия желаю!” (Современник. 1857. № 4).

В семантике слов *чаруй* – *очаровывай* есть общий корень, сближающий дружескую пирушку (за чаркой вина) и волшебство (чары), умение завладеть чужим вниманием. Эта же игра слов присутствует и у Вяземского. В его послании “К старому гусару” мы наблюдаем шутовское обыгрывание кредо жизни Дениса Давыдова: “чаруй с гусарами лихими и очаровывай б...”. Сравним приведенное выражение с взятыми из текста стихотворения Вяземского строками о Москве:

И мерещится старуха,  
 Наша сверстница Москва.  
 Не Москва, что ныне чинно  
 В шапке, в теплых сапогах  
 И проводит дни невинно  
 На воде и на водах.

Таким образом, вскрывается двойной смысл слова *невинно*, как отсутствие вина в буквальном смысле этого слова с последующим углублением – отсутствие вкуса к жизни вообще.

На дружеских пирах беседы между собой ведут не только поэты. Например, в стихотворении Вяземского “Послание к Т(ургеневу) с пиროгом” (1820) дружеское застолье превращается в гражданское заседание единомышленников. В качестве председателя симпозиона выбирается тот, чье красноречие острее и чья кружка порожней. Правление председательствующего принимается легко и радостно. Словно воссоздается локализованная модель идеального государства, порядок в котором достигается мудрым руководством председателя, позволяющего каждому из участников высказать свою точку зрения.

Пусть старшинством того почтит пирушка,  
У кого всегда порожней кружка  
И с языка вздор острый, без затей  
Как блестящие искры срывается быстрей.  
Ему воздай отличие верховно;  
Но не деспот, а общества глава  
Над обществом пусть царствует условно  
И делит с ним законные права.  
Пусть, радуясь его правленью, каждый  
Покорностью почтит властей дележ  
И в свой черед балует прихоть жажды  
И языка болтливого свербеж.

Это заседание лишено “стеснительных законов”, в нем есть место дружеской фривольности и шутке.

В пушкинском послании “В.Л. Давыдову” (1821) герои, облачаясь в “демократические халаты”, пьют за свободу и ее приверженцев. В оригинальном эпитете, отнесенном к халату, отразилась атмосфера политических событий того времени: восстание Греции против турецкого владычества, принявшее характер священной войны за освобождение и возрождение православного “Рима”, первого мирового центра христианства. В стихотворении представлена ситуация дружеского пира, переосмысленного как ритуал причастия.

Источником идеи дружеского пира как причастия является “гусарская поэзия”, в которой легко сочетались христианские атрибуты с тоном фривольности и даже богохульства. Образец поэзии подобного рода – послание Д. Давыдова “Бурцову” (1804), в котором круговая чаша арака трансформируется в образ Тайной Вечери.

В дымном поле на биваке,  
У пылающих огней,  
В благодетельном араке  
Зрю спасителя людей.  
Собирайся в круговую,  
Православный весь причет!  
подавай лохань златую,  
Где веселие живет!

В другом послании, также обращенном Бурцову, автор в качестве аргументов, на основании которых адресат должен внять его призыву и приехать, приводит следующие: “Ради Бога и ... арака Посети домишко мой!” Отточие как бы приготавливает к неожиданному повороту в развитии мысли. Если бы речь шла о языческом божестве, в подобной контаминации не было бы ничего удивительного. Вахх – неперемный участник застолья. Но выражение “в благодетельном араке зрю спасителя людей” осмысливается однозначно. На первый взгляд кажется, что кощунственно сближаются совершенно разнородные понятия, но затем оказывается, что они имеют одинаковую функциональную направленность, выступая в роли спасителей людей. На дне стаканов с пуншем “сокрыт небесный жар”, поэтому соединение рядом имени Бога и арака в какой-то мере мотивировано.

Семантика пира не означает единственно дружеского застолья за бокалом вина, пир – источник высоких внутренних порывов и разнообразных внешних впечатлений, квинтэссенция “опьянительной радости бытия”, всеобъемлющая метафора жизни. Вкус вина (а в скобках заметим – жизни) у каждого свой, обусловленный характером того или иного человека, его индивидуальными запросами. В идеале жизнь должна быть такой же гармоничной и так же радовать человека, как и бокал доброго вина.

В элегии Пушкина “Безумных лет угасшее веселье...” (1830) “златой Горацийев фиал” трансформируется в христианскую чашу страданий и испытаний. Тем не менее, лирический герой не хочет с ней расставаться. Вкус жизни познаваем не в одних радостях. Он осознает, что печаль углубила его понимание жизни, и желает жить, “чтоб мыслить и страдать”. Герой готов выпить свою чашу жизни до дна, не теряя надежды “ушиться” гармонией и на пороге смерти, желая как можно более полно и глубоко прожить каждую минуту жизни.

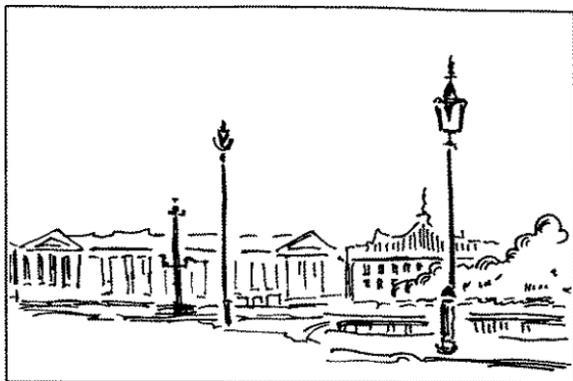
В состоянии “сумрачной трезвости”, вдали от “буйных оргий” выпивает свой “бокал уединенья” и Баратынский. Стараясь “предупредить” неизбежные обиды и разочарования, которые способны отравить вкус сладкой и полной чаши, он рано отказывается от непосредственности в отношении к жизни. Не вкусить горечи со дна чаши возможно, только раньше оторвав уста от ее края. На смену вакхическому упоению должно прийти осознанное счастье. Баратынский предпочитает “чаше наслаждений” “разума великолепный пир” как причащение высшей правде и красоте. Единственный свидетель “тайных дум” героя – бокал. Отданный во власть “вдохновенного и проникновенного духовного созерцания”, лирический герой слышит голоса таинственного мира, вещающего и об “откровеньях преисподней”, и о “небесных мечтах”. Бокал наделяется живой душой, в его “зашипевшей” струе слышится подобие голоса, его грани покрыты “туманом приветным”. Бокал выступает и в роли исповедника, которому герой ввергает самые сокровенные

мечтания (“чем душа моя богата, все твое, мой друг Аи”), и в роли проповедника (“упоенья проповедуй иль отравы бытия”).

Библейское представление о человеке, как о сосуде, вмещающем в себя и достоинства, и пороки, ярко отражено в стихотворении Дельвига “Поэт” (1830). Мысли и чувства поэта, долго хранимые в его душе, как бы набирают силу, подобно “вековому вину”, ценность которого исчисляется сроком выдержки. Выплеск всего лучшего, что есть в душе, осуществляется в поэзии, являющей собой драгоценный напиток для посвященных. Поэзия – это средоточие всего, что “ласкает чувства”, она так же гармонична, как и букет хорошего вина, дающий отраду всем чувствам:

Боги! в песнях его счастье, и жизнь, и любовь,  
Все, как в вине вековом, початом для гостя родного,  
Чувства ласкают равно: цвет, благовонье и вкус.

*Мичуринск*



## Поэт и царь

*Об адресате стихотворения А.С. Пушкина  
“С Гомером долго ты беседовал один...”*

© В. А. ВОРОПАЕВ,  
доктор филологических наук

В статье “О лиризме наших поэтов”, вошедшей в книгу “Выбранные места из переписки с друзьями”, Н.В. Гоголь замечает: “От множества гимнов и од царям поэзия наша, уже со времен Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выражение. Что их чувства искренни – об этом нечего и говорить. Только тот, кто наделен мелочным остроумием, способным на одни мгновенные, легкие соображенья, увидит здесь лесть и желанье получить что-нибудь...” [1. С. 251].

Размышляя о значении самодержавия для России, Гоголь приводит следующие слова Пушкина: «“Зачем нужно, – говорил он, – чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон – дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона не далеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномочной власти. Государство без полномочного монарха – автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит”».

И далее: «“Государство без полномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если

нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного согласья!" Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значенье великих истин!» [1. С. 253].

Суждения поэта, приводимые Гоголем, подтверждаются и другими источниками. Так, например, слова Пушкина о Соединенных Штатах, сказанные, видимо, в личной беседе, находят подтверждение в мемуарах В.И. Анненковой, видевшей Пушкина в январе 1837 года у великой княгини Елены Павловны: «Разговор был всеобщим, говорили об Америке. И Пушкин сказал: "Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом"» [2].

В другом месте Гоголь называет стихотворение Пушкина "Странник" (опубликованное в 1841 году в посмертном собрании сочинений поэта под заглавием "Отрывок") *таинственным побегом из города*. Издатель "Русского Архива" П.И. Бартнев пишет по этому поводу: «Припомним также загадочное стихотворение "Отрывок", которое Гоголь в статье о лиризме наших поэтов назвал таинственным побегом из города. По словам Гоголя, которые удалось узнать мне частным образом, Пушкин за год до смерти действительно хотел бежать из Петербурга в деревню; но жена не пустила» [3].

В подтверждение монархических убеждений Пушкина Гоголь приводит стихотворение "С Гомером долго ты беседовал один...", впервые напечатанное в 1841 году под названием "К Н\*\*\*". Обращаясь к В.А. Жуковскому, он говорит: «Это внутреннее существо – силу самодержавного монарха он (Пушкин. – В.В.) даже отчасти выразил в одном своем стихотворении, которое между прочим ты сам напечатал в посмертном собрании его сочинений, выправил даже в нем стих, а смысла не угадал. Тайну его теперь открою. Я говорю об оде Императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: "К Н\*\*\*". Вот ее происхождение. Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралось; но Государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул "Илиаду" и увлекся нечувствительно ее чтеньем во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принеся на лице своем следы иных впечатлений.

Сближение этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатление, и плодом его была следующая величественная ода...» [1. С. 253–254].

И далее Гоголь цитирует стихотворение в том виде, как оно было опубликовано Жуковским:

С Гомером долго ты беседовал один,  
Тебя мы долго ожидали.  
И светел ты сошел с таинственных вершин  
И вынес нам свои скрыжали.  
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,  
В безумстве суетного пира,  
Поющих буйну песнь и скачущих кругом  
От нас созданного кумира.  
Смутились мы, твоих чуждаясь лучей.  
В порыве гнева и печали  
Ты проклял нас, бессмысленных детей,  
Разбив листы своей скрыжали.  
Нет! Ты не проклял нас. Ты любишь с высоты  
Сходить под тень долины малой,  
Ты любишь гром небес, и также внемлешь ты  
Журчанью пчел над розой алой.

Прочитав стихи Пушкина, Гоголь говорит: “Оставим личность Императора Николая и разберем, что такое монарх вообще, как Божий помазанник, обязанный стремить вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог, и вправе ли был Пушкин уподобить его древнему Боговидцу Моисею?” [1. С. 254]. И затем, сказав о богоустановленности Царской власти, ведущей свое происхождение от ветхозаветных пророков, Гоголь замечает: “Кажется, как бы в этом стихотворении Пушкин, задавши вопрос себе самому, что такое эта власть, сам же упал во прах перед величием возникнувшего в душе его ответа” [1. С. 255].

Впоследствии биографом Пушкина П.В. Анненковым была обнаружена и напечатана еще одна строфа из этого стихотворения:

[Таков прямой поэт. Он сетует душой  
На пышных играх Мельпомены,  
И улыбается забаве площадной  
И вольности лубочной сцены,]  
То Рим его зовет, то гордый Илион,  
То скалы старца Оссиана,  
И с дивной легкостью меж тем летает он  
Во след Бовы иль Еруслана.

Первые четыре строки (от слов: “Таков прямой поэт”) зачеркнуты в автографе, это говорит о том, что Пушкин испытывал какие-то со-

мнения в отношении их смысла, — они не подтверждают всего предыдущего.

История написания пушкинского послания (эпизод о том, как Император Николай Павлович читал “Илиаду”) в первом и единственном прижизненном издании “Выбранных мест из переписки с друзьями” была исключена цензурой, что привело к недоумениям и кривотолкам. Современники считали адресатом стихотворения Николая Гнедича. Так, В.Г. Белинский в пятой статье пушкинского цикла (“Отечественные Записки”, 1844) упоминает его под заглавием “К Гнедичу”. Поэт и литературный критик С.П. Шевырев писал Гоголю 30 января 1847 года: «Как мог ты сделать ошибку, нашед в послании Пушкина к Гнедичу совершенно иной смысл, смысл неприличный даже? Не знаю, как Плетнев не поправил тебя. Послание адресовано к Гнедичу: как же бы Пушкин мог сказать кому другому “ты проклял нас”?» [4].

Замечание Шевырева несправедливо. Во-первых, смысл стихотворения прямо противоположный:

Ты проклял нас, бессмысленных детей,  
Разбив листы своей скрыжали.  
Нет, ты не проклял нас...

Во-вторых, Шевырев, как и Гоголь, цитирует стихи Пушкина по первой публикации. Ни тот, ни другой не видели автографа, — а в нем указанная строка читается иначе: “Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей...”

В ответ Гоголь посылает Шевыреву исключенный цензурой отрывок статьи и в приписке сообщает: «Слух о том, что это стихотворение Гнедичу, распустил я. С моих слов повторили это “Отечественные Записки”» [5].

Так или иначе, первые издатели Пушкина в комментариях указывали, что послание “С Гомером долго ты беседовал один...” адресовано Императору Николаю Павловичу. И здесь, помимо авторитета Гоголя, имел значение тот факт, что стихотворение датируется 1834 годом, в то время как Гнедич умер в 1833 году. Маловероятно, что Пушкин стал бы писать почти панегирик Гнедичу, обращаясь к нему как к живому (“Ты любишь с высоты Сходить под тень долины малой, Ты любишь гром небес...”). Последняя палеографическая экспертиза подтвердила, что дата “1834” в черновом автографе написана рукой Пушкина [6].

Люди с чуткой поэтической душой не испытывали сомнений относительно адресата пушкинского послания. Так, Афанасий Фет писал поэту Константину Романову (К.Р.) в декабре 1887 года: «В глубине души я вынужден признать, что, невзирая на верноподданнические убеждения, я не был бы так предан памяти Императора Николая, если бы не знал его глубокого сочувствия всем свободным искусствам вообще, сочувствия, так ярко выставленного Пушкиным стихом: “С Гомером долго ты беседовал один”» [7].

Черновые строки стихотворения (неизвестные Гоголю) со всей определенностью указывают на Государя Николая Павловича:

...Могучий властелин  
С Гомером долго ты беседовал один.

Николай I был настоящий властелин, каким он показал себя в 1831 году на Сенной площади, заставив силой своего слова взбунтовавшийся по случаю холеры народ пасть перед ним на колени (ср. письмо Пушкина к Осиповой от 29 июня 1831 года). Для автора “Стансов” Император Николай I был царь “суровый и могучий”:

И новый царь, суровый и могучий,  
На рубеже Европы бодро стал...

(“Была пора: наш праздник молодой...”, 1836)

В советском литературоведении, однако, утвердилось мнение, что это стихотворение обращено к Гнедичу как переводчику “Илиады”. Тем не менее многие вопросы остаются без ответов. Если Пушкин имел в виду Гнедича, то почему Жуковский не назвал адресата? Кто написал “К Н\*\*\*” в белой рукописи и кто скрыт под этим названием? Откуда В.Г. Белинский мог знать то, чего не знали П.А. Плетнев и В.А. Жуковский? Зачем Гоголь распространял слух, что стихотворение адресовано Гнедичу?

Создается впечатление, что Гоголь знал нечто такое, чего не знали друзья Пушкина. История, рассказанная в статье “О лиризме наших поэтов”, находит подтверждение в “Записках А.О. Смирновой”, изданных ее дочерью Ольгой Николаевной Смирновой. Вот уже более ста лет они вызывают споры в отношении подлинности. Здесь, в частности, упоминаются поэмы и стихотворения Пушкина, которые Александра Осиповна передавала на прочтение Императору Николаю Павловичу. Среди них – «стихи Н., когда Государь читал “Илиаду” перед балом». “Этот последний факт, – говорил Пушкин, – я рассказал Гоголю, который записал его, так он был им поражен”. На вопрос поэта, почему она настаивала на том, чтобы тотчас показать Государю эти стихи, А.О. Смирнова сказала: “Потому что они прекрасны и доставили ему удовольствие, да вы и сами отлично знаете, что он мне ответил”. Ответил же Государь, по ее словам, следующее: “Я и не подозревал, чтобы Пушкин до такой степени за мною наблюдал и чтобы это даже могло поразить его. Это не поразило никого более из бывших на бале” [8].

Но все-таки мы не можем отбросить Гнедича как хотя бы привходящего (то есть дополнительного, от слова *приводить* – являться дополнением к чему-либо) адресата послания. Нельзя не признать, что смысл

стихотворения не может быть объяснен до конца. Возможно, что Пушкин имел в виду и великий труд Гнедича, и Государя Николая Павловича (его, может быть, более), читавшего “Илиаду”, которая и была ему посвящена от переводчика.

### *Литература*

1. *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 8. <Л.>: Изд-во АН СССР, 1952.
2. *Андроников И.* Лермонтов: Исследования и находки. М., 1964. С. 175.
3. *Зайцев А.Д.* Петр Иванович Бартенев. М., 1989. С. 78.
4. Переписка Н.В. Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 345.
5. *Миллер О.Ф.* Неизданные письма Гоголя // Русская Старина. 1875. № 12. С. 661.
6. *Соловьева О.С.* Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский Дом после 1837 г. М.-Л., 1964. С. 25, 91.
7. *К.Р.* Избранная переписка. СПб., 1999. С. 261.
8. *Записки А.О.* Смирновой. Издание редакции журнала “Северный Вестник”. СПб., 1895. С. 320, 321.





## **Чувства и страсти в “южных поэмах” А.С. Пушкина**

© *Н. П. ЖИЛИНА,*  
кандидат филологических наук

В “южных поэмах”, открывших новый этап не только в пушкинском творчестве, но и в развитии всей русской литературы, была особым образом поставлена проблема личности, важнейшая для романтической художественной системы, где внутренний мир человека утверждается как центральный объект искусства. В “Кавказском пленнике”, начавшем ряд романтических поэм, главной становится проблема личностной свободы, заявленная в самом названии поэмы и непосредственно связанная с героем, с его мечтами и устремлениями:

Свобода! Он одной тебя  
Еще искал в пустынном мире. <...>  
С волненьем песни он внимал,  
Одушевленные тобою,  
И с верой, пламенной мольбою  
Твой гордый идол обнимал. [1. С. 109–110].

Этот образ свободы, представленный как бы одновременно с двух различных позиций, оказывается амбивалентным: в противополож-

ность герою, в сознании которого понятие *свободы* является безусловно сакральным (“Прости, *священная свобода!*”), в авторском восприятии подвергается сомнению, если не совершенно опровергается, сама истинность и непреложность этой сакральности (“*призрак свободы*”, “гордый *идол*”).

Центральная сюжетная оппозиция *свобода – плен* (где *свобода* выступает как адекват *жизни*, а *плен* – *смерти*) дополняется в поэме другой, частного характера: *родной предел – край далекий*: “Отступник света, друг природы, Покинул он родной предел И в край далекий полетел С веселым призраком свободы”. В противоположность “родному пределу”, ставшему для героя пространством измены, лжи и суеты, “край далекий” изначально представляется ему идеальным воплощением абсолютной свободы, как в ее внешних, так и внутренних проявлениях. Рабство, настигающее его здесь, парадоксальным образом открывает перед ним неожиданные возможности для обретения истинной свободы. Мир, в “родном пределе” открывшийся ему только одной стороной и обнаруживший лишь свое несовершенство, теперь предстает перед ним сложным, многогранным и удивительно притягательным. Так становится понятно, что причины отчуждения Пленника имели двусторонний характер и заключались не столько в несовершенстве мира, сколько в самом герое, воспринимавшем его лишь в определенном ракурсе.

Описанная в предыстории эволюция мировосприятия пушкинского героя (от восторженности – к разочарованию) стала следствием как внешнего воздействия, так и внутренних процессов, показанных автором так, что невозможно не понять: это было бегством не только от мира, но и от себя самого. Пленник покидает родной край в поисках свободы как последнего прибежища в состоянии полной душевной опустошенности – “страстями чувства истребя, охолодев к мечтам и к лире”.

В современном языковом сознании слово *страсть* воспринимается, прежде всего, в одном, совершенно определенном плане – как многократно усиленное чувство. Именно такое толкование дается и в современном Словаре русского языка: “сильное чувство, с трудом управляемое рассудком”, а также частный вариант: “сильная любовь с преобладанием чувственного влечения” [2]. Однако в церковнославянском языке это слово употреблялось в других значениях: “1) сильное желание чего-либо запрещенного; 2) страдание, мучение” [3. С. 671] – в противоположность *чувству*, толковавшемуся как “понятие, познание, благоразумие, мудрость; способность, чувствование; высшая способность в человеке, сообщающаяся с божеством, дух” [3. С. 827]. Это толкование находится в полном соответствии с тем представлением, которое изложено в учении святых отцов: “Страсть понимается у святых аскетов, как порочное, греховное состояние, пленившее в послушание

себе волно человека” [4], – писал один из известных русских богословов в начале XX века. Необходимо отметить, что и в словаре Даля зафиксировано это же принципиальное отличие *чувства* от *страсти*: “Чувствовать – ощущать, ... слышать, осязать, познавать телесными, плотскими способностями, средствами; познавать нравственно, внутренно, понимать, сознавать духовно, отзываясь на это впечатлениями. Чувство – состояние того, кто чувствует что-либо; способность, возможность воспринимать сознательно деятельность внешнего мира; чувство духовное, нравственное, зачатки души человеческой, тайник, совесть; сознание души, побудка сердца” [5. С. 611]. В то же время “страсть – страданье, муки, маета, мученье, телесная боль, душевная скорбь, тоска; душевный порыв к чему, нравственная жажда, жаданье, алчба, безотчетное влеченье, необузданное, неразумное хотенье” [5. С. 336].

Переосмысление слова *страсть* произошло в России во второй половине XVIII века. “В семантическом аспекте, – отмечает исследователь истории русского литературного языка А.М. Камчатнов, – многие славянские слова изменяли свое значение, становясь средствами выражения новых понятий; старые значения, связанные с церковнославянским узусом, если не совсем утрачивались, то уходили в тень, становились архаическими, тогда как актуальным становилось для них выражение новых смыслов, принесенных новой идеологией, что, в свою очередь, сказывалось и на стилистической окраске слова” [6]. В данном случае появлению нового смыслового значения и кардинальному изменению коннотации – с негативной на положительную – в огромной мере способствовало распространение просветительского мировоззрения (воспринимающего именно приверженность страстям как истинную жизнь души), под влиянием которого оказались многие русские писатели.

Пушкин, казалось бы, продолжающий в первой из своих романтических “южных поэм” эту литературную традицию, совершает новый, совершенно неожиданный, можно даже сказать, парадоксальный поворот. Изображая страсти смертоносными, губительными для души (“... бурной жизнью погубил Надежду, радость и желанье...”), противопоставляя их *чувствам* (“страстями чувства истребя”), поэт возвращает читателя к первоначальной семантике этого понятия, укорененной в христианской антропологии, где *чувство* воспринимается как естественная, прирожденная способность человека, данная ему от природы, а *страсть* – как следствие искажения естественной человеческой натуры первородным грехом. Эту антитезу (*страсть* – *чувство*) подкрепляет в поэме целый ряд метафорических образов, призванных выразить эволюцию героя, пройденный им душевный путь от “пламенной младости” – к “бесчувственной душе” и “увядшему сердцу”. Свой “души печальный хлад” герой объясняет Черкешенке так: “Я вяну жертвою страстей”. Важно отметить, что метафора увядания включает в себе семантику *смерти*: увядать – по Далю – 1) о растении: “усыхать, уми-

рать”, о человеке: “хилеть, дряхлеть, слабеть, угасать”; 2) “иссушать, обессилить, истощая, губить” [5. С. 464]. Так обозначается в поэме проблема пленения человека страстями.

В поэме “Бахчисарайский фонтан” на первом плане оказываются женские персонажи, две главные героини, контрастность которых проявляется как во внешности и натурах, так и в сходстве и различии их судеб. Для грузинки Заремы воплощением земного рая является наполненное “беспрерывным упоением” взаимной любви пространство гарема. Попад когда-то в этот мир пленницей, она совершенно свободна, без какого-либо принуждения приняла его правила и обычаи, принципы и законы, его систему ценностей. Крещенная в младенчестве, но забывшая, как сама признается, “для Алкорана между невольницами хана” “веру прежних дней”, Зарема остается, по существу, вне обеих религий, отвергая своими поступками основополагающий как в христианстве, так и в исламе принцип безраздельной покорности воле Творца (“ислам” в буквальном переводе с арабского – предание себя (Богу), покорность [7]). В сущности, истинной “религией” для нее становится *любовная страсть*. Такое мировосприятие наделено несомненными чертами язычества, системы, в которой главной целью жизни человека становится наслаждение, культ плоти. Пушкинская героиня не осознает в себе духовного начала как определяющего, отсюда и ее представление о собственном предназначении: признаваясь Марии: “... я для страсти рождена”, она, по существу, произносит формулу собственной личности.

Душа Заремы объята жаждой безраздельного обладания любимым человеком, который при этом осознается не свободной личностью, не полноправным субъектом, а лишь объектом страсти. Обращаясь к Марии, она просит: “Оставь Гирея мне: он мой”. И далее снова: “Отдай мне прежнего Гирея... Он мой”. Невозможно не отметить, что психология любовной страсти в ее крайнем проявлении изображена здесь Пушкиным с предельной точностью. Сакрализация любовного чувства ведет к аксиологической переориентации в сознании героини: воспринимая “измену” Гирея как преступление, Зарема вершит свой суд, готова на убийство во имя самой главной и, безусловно, “высокой” для нее цели – возвращения любимого. Так проявляется в героине качество, характерное вообще для романтической натуры и постоянно акцентируемое писателями-романтиками: “личность присваивает себе права судьи и исполнителя правосудия, она сама при этом решает, что справедливо и что несправедливо, и сама формулирует кодекс возмездия” [8].

Страсть, владеющая душой Заремы, чужеродна натуре Марии, в описании которой с самого начала настойчиво акцентируется присущее ей неземное начало. Кульминационная в поэме ситуация встречи центральных героинь отчетливо выявляет их отношение к противоположным аксиологическим полюсам. Пребывая в лагере Марии откры-

вает Зареме существование каких-то недоступных ей до этого ценностей: иной гармонии, иной любви – той, которой “крест символ священный”. В свою очередь, Марии неведомый ранее мир любовной страсти (“Она любви еще не знала...”) открывается через переживания Заремы. Восприятием Марии слову *страсть* возвращается его первоначальный смысл – *страдание*, мучение. Жизнь предстает перед ней теперь как *переплетение страстей*, как состояние постоянной борьбы, где сегодняшнему победителю завтра уготована участь побежденного. Пример Заремы показывает ей, что вовлеченный в эту игру страстей человек, безумствуя, становится игрушкой в руках слепых и темных сил Рока, определяющего в каждый конкретный момент его судьбу. Каждая из героинь делает свой, вполне осознанный выбор: одна полностью погружена в земное, другая устремлена к небесному. В то время как высшее счастье воплощено для Заремы в телесной, плотской, страстной любви, истинным счастьем для Марии является блаженство обитания в “близкой, лучшей стороне” – мире инобытия.

Основной доминантой психологической характеристики Марии является отмеченное автором уникальное качество ее внутреннего мира – “тишина души”. В словаре Даля одно из значений слова *тишина* – “мир, покой, согласие и лад” – толкуется в соответствии с христианским восприятием, где состояние тишины, противоположное мятежу, бунту, есть показатель душевной гармонии. Именно это качество распространяется на все, что окружает Марию. В христианском сознании антитезой страстям, с момента рождения владеющим душой человека и влекущим его ко греху, является *бесстрастие* – высокое состояние души, очищенной от страстей, отказавшейся от ложных ценностей “мира сего”. Земная жизнь человека – это, в идеале, путь его духовного совершенствования, приводящий в конечном итоге к спасению души и обретению вечного блаженства. Бесстрастие, свойственное ангельски-чистой душе Марии, является не плодом долгих усилий или упорных трудов, как у святых отцов, а по особой милости даровано ей свыше. Исследователям, начиная с Белинского, всегда казалась совершенно очевидной мысль о том, что именно Мария воплощает в себе авторский идеал.

В центре поэмы “Цыганы”, завершающей цикл “южных поэм”, – одинокий, отвергающий весь мир герой, который в поисках свободы оставляет родной город и пристает к цыганскому табору. Сознание своей исключительности рождает в нем стремление к полной независимости, не только не ограниченной социальным уровнем, но вырастающей до космических масштабов. По словам автора, он “жил, не признавая власти Судьбы коварной и слепой...”. Повествование в предыстории героя организовано так, что позиции автора и героя близки к совпадению, почти неразличимы – до следующих стихов, в которых происходит резкий сдвиг в плоскость авторского сознания, обнаруживающего себя перед читателем эмоционально-оценочной открытостью: “... Но, боже,

как играли страсти Его послушною душой!». Если первая часть этого сложного предложения отражает самоощущение героя (не имеющего навыков самоанализа), то во второй части воплощаются представления автора, обладающего глубоким знанием и тонким пониманием человеческой души. Именно это и дает ему возможность предсказания: «С каким волнением кипели В его измученной груди! Давно ль, надолго ль умирели? Они проснутся: погоди». Совмещение в одном синтаксическом целом двух различных точек зрения – автора и героя – еще яснее выявляет и резче обозначает несходство их идеологических позиций: для героя абсолютной ценностью является именно *внешняя свобода*, возможность отчуждения от всего окружающего – автор видит первопричину всего происходящего с человеком в состоянии его *внутреннего мира*.

В научной литературе уже высказывалась мысль о том, что даже в «исключительных, едва ли не идеальных условиях Алеко не дано наслаждаться счастьем, узнать вкус подлинной свободы. И, прежде всего, потому, что он не в силах побороть бушующие в “его измученной груди” страсти» [9]. Главной причиной такого внутреннего “порабощения” исследователи, вслед за Белинским, нередко считали “воспитавший его общественный уклад, который проявляется в злобных страстях” [10]. При этом не учитывалось, что понятие *страсти* как таковое принадлежит совершенно определенной системе мировоззрения, а именно – христианству, так же как представление о “коварной и слепой” Судьбе – язычеству. Основополагающему в языческом сознании понятию Судьбы противостоит в христианстве образ единого Бога, с которым неразрывно связано представление о *нравственном законе*, воплощенном в душе человека в виде совести. Если в языческих системах главным препятствием для обретения человеком свободы признается Судьба, то в христианстве – *страсти*, в рабство к которым с момента рождения попадает поврежденная первородным грехом человеческая натура. Именно страсти производят в душе человека обратное нравственному закону действие, вытесняя совесть. Таким образом, резкий интонационный сдвиг и изменение точки зрения в пушкинском повествовании выявляют и обозначают принадлежность героя и автора к противоположным аксиологическим системам – языческой и христианской. В то же время здесь возникает важнейшая в сюжете поэмы параллель *судьба – страсти*, неразрывно связанная с проблемой *внешней и внутренней свободы*.

В воспоминаниях Алеко, вызванных вопросом Земфиры (“Скажи, мой друг: ты не жалеешь О том, что бросил навсегда?”), возникает собирательный образ города как воплощения всего дурного, низменного и порочного. Не признавая никакого суда над собой, герой вершит суд над оставленным им миром и, ощущая себя на недостижимой высоте, с презрением отвергает его несовершенство. Обвиняя людей города в том, что они “главы пред идолами клонят”, пушкинский герой не осо-

знает, что идолом для человека может стать любая страсть, в том числе и непреодолимое влечение к абсолютной свободе. Как становится понятно в ходе сюжетного развития, в сознании Алеко сложилась и существует *особая этическая система*, в иерархическом строении которой *его воля*, распространяясь, подчиняет себе абсолютно все. “Ты для себя лишь хочешь воли...”, – точно формулирует старый цыган этот принцип жизни, ярким примером которого является ситуация с разлюбившей героя Земфирой. Богатый личностный потенциал интеллектуального героя разрушается именно под влиянием страстей, из-под власти которых он не может выйти. Показывая духовный путь своего героя, Пушкин вскрывает общую психологическую закономерность: пытаясь во всем утвердить *свою волю*, отвергнув нравственный закон, человек, тем самым, отдает свою душу во власть темным стихиям и становится *игрушкой страстей*.

Рассматривая просветительскую концепцию свободы, Ю.М. Лотман отмечает: “Этика героического самоотречения, противопоставлявшая гражданина поэту, героя – любовнику и Свободу – Счастью, была свойственна широкому кругу свободолюбцев – от Робеспьера до Шиллера. Однако были и другие этические представления. Просвещение XVIII века в борьбе с христианским аскетизмом создало иную концепцию Свободы. Свобода не противопоставлялась Счастью, а совпадала с ним. Истинно свободный человек – это человек кипящих страстей, раскрепощенных внутренних сил, имеющий дерзость желать и добиваться желанного, поэт и любовник. Свобода – это жизнь, не умещающаяся ни в какие рамки, бьющая через край, а самоограничение – разновидность духовного рабства. Свободное общество не может быть построено на основе аскетизма, самоотречения отдельной личности. Напротив, именно оно обеспечит личности неслыханную полноту и расцвет” [11]. Романтическое сознание, наследуя и развивая идеи просветительства, напрямую связывает понятие личностной свободы с возможностью открытого, никакими внешними рамками не ограниченного переживания и проявления страсти. По Пушкину же, именно страсти становятся главным препятствием на пути к внутренней свободе человека: будучи *пленницей страстей*, душа не может обрести истинного освобождения. Романтический идеал исключительной личности, в поисках *абсолютной свободы* вознесшейся над миром и противопоставившей себя ему, в художественном мире пушкинских “южных поэм” показывается как несостоятельный и полностью отвергается.

### Литература

1. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1957. Т. 4.
2. Словарь русского языка: В 4 т. М., 1981–1984. Т. 4. С. 282.

3. Полный церковно-славянский словарь/Протоиерей Г. Дьяченко: Репринтное издание 1900 г. М., 2006.
4. *Соколов Л.* Психология греха и добродетели по учению святых подвижников древней Церкви. М., 2002. С. 15.
5. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1955. Т. IV.
6. *Камчатнов А.М.* История русского литературного языка: XI – первая половина XIX века: Учеб. пособие. М., 2005. С. 371–372.
7. Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 228.
8. *Тураев С.В.* Концепция личности в литературе романтизма // Контекст – 1977: Литературно-теоретические исследования. М., 1978. С. 239.
9. *Гуревич А.* От “Кавказского пленника” к “Цыганам” // В мире Пушкина: Сб. статей. М., 1974. С. 75.
10. *Коровин В.И.* Романтизм в русской литературе первой половины 20-х годов XIX века. Пушкин // История романтизма в русской литературе: Возникновение и утверждение романтизма в русской литературе (1790–1825). М., 1979. С. 235.
11. *Лотман Ю.М.* Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя // *Лотман Ю.М.* Пушкин. СПб., 1995. С. 50.

Калининград





*Слово и музыка  
в лирике Михаила Кузмина*

© Л. В. САВЕЛЬЕВА,  
доктор филологических наук

Имя Михаила Алексеевича Кузмина, долгое время подвергавшееся остракизму, с конца 80-х годов XX века активно возвращается издателями и исследователями в историческое русло русской художественной культуры Серебряного века.

По собственному признанию, до 1904 года Кузмин готовил себя к профессиональной “композиторской деятельности” (три года Петербургской консерватории по классу композиции, частные уроки композиции), при этом он пишет симфонии, сюиты, вокально-инструментальные произведения, а также песни, романсы, музыку на духовные стихи. Будучи завсегдаем сценических постановок и театральным критиком, он регулярно сочиняет музыкальное сопровождение к спектаклям, например, к “Балаганчику” А. Блока, “Бесовскому действу” А.М. Ремизова и др., да и сам пишет тексты некоторых своих песен и романсов. Только дружеские настояния окружающих (Ю. Верховский, В. Брюсов и др.), обративших внимание на оригинальность и самоценность его словесного творчества, к которому сам автор поначалу относился слишком скептически, стали поводом для первых изданий его литературных произведений.

Саморефлексия и вытекающая из нее легкая самоирония (“Моя душа, как бабочка, Летит на запах липки”), часто с долей шутливости, иногда лукавства, навсегда остались отличительной чертой творческого почерка поэта Кузмина [1]. Это было в большой степени связано и с его постоянным осознанием условности сотворенного мира. Камерность и экзотический антураж были нужны ему для идеальной жизни в царстве культуры, которую он, в определенном смысле *гражданин все-*

ленной, сознательно предпочитал так называемой правде жизни. Его цитаты, аллюзии, реминисценции говорят о вторичности творимой поэтической реальности, что было совершенно в духе Серебряного века. Его фантазия в стихах и прозе легко путешествует по разным странам и эпохам, не претендуя на познание сущностных сторон жизни.

Вместе с тем в контексте творческой эволюции Михаила Кузмина и его единого мироощущения поэта-композитора условность авторской модели мира определяется и стихией музыки как наиболее абстрактного из искусств его творческого сознания. Не случайно в своей позднейшей Декларации он настаивал на том, что сущность искусства – “производить единственное, неповторимое эмоциональное *воздействие* через передачу в единственной неповторимой форме единственного неповторимого эмоционального *восприятия*”, а потому “искусство обязательно должно приводить к *приятию* мира” [2]. Заметим, что под такими словами *поэта* с легкостью подписался бы любой *музыкант* прежде всего.

Кузминская декларация эмоционализма 1923 года несколько не противоречила его предшествующим лозунгам “вечности” и “прекрасной ясности”, никак не диссонируя со знаменитой одноименной статьей 1910 года. Если раньше речь шла более всего о *средствах* создания поэтического мира, то позже определялась *сама цель* творчества в понимании автора. Программность поэзии Кузмина отсутствовала изначально и, конечно, не могла не определять его лирический идиостиль, который, несмотря на позднейшие увлечения разнородными западными течениями модерна и более всего футуризмом, сохраняет узнаваемые черты на протяжении всего литературного пути поэта.

Его первый по времени сборник “Александрийские песни” (1906) в ритмическом отношении представлял интонационно-фразовый стих – верлибры сложной структуры [3], которые М. Кузмин исполнял в своей оригинальной манере, “безголосым голосом”, под аккомпанемент фортепиано. В составе поэтического наследия Кузмина числятся вокально-инструментальный цикл “Куранты любви” (опубликован с нотами – М., 1910), вокально-инструментальный цикл “Лесок” (поэтический текст опубликован отдельно – Пг., 1922; планировавшееся издание нот не состоялось), а также целый ряд текстов к музыке, отчасти опубликованных с нотами.

Предельное сближение в идиостиле Кузмина двух темпоральных искусств – лирической коммуникации и музыки – невозможно понять без учета профессиональных представлений и навыков Кузмина-музыканта. И здесь речь идет не просто о тенденциях жанрового наименования, типа “Песен о душе” или “Серенады”: в поэтической традиции романтизма это явление было хорошо известно (начиная с “Лейпцигских песен” Гёте, “Еврейских мелодий” Байрона, многочисленных “песен” Леопарди, Пушкина, Гюго, Гейне и мн. др.).

Имеется в виду более глубокое взаимовлияние словесного и сугубо звукового искусств, в том числе и в отношении построения художественного целого.

Примером может служить миницикл “Английские картинки” (1922) с подзаголовком “Сонатина”, в котором изображены три стилизованных бытовых сценки (“Осень” – “Именины” – “Возвращение”) условной Англии в меняющихся периодах и каденциях ритмико-интонационного строя – как три вариации на общую тему любовно-эротических коллизий (Бэтси-Алиса-Нелли) “мореходца” Броуна. Чуткий к гармоническим краскам, Кузмин не представляет воссоздания инациональной атмосферы без обращения к соответствующим народно-песенным истокам и народно-танцевальной ритмической аранжировке.

Показательна 1-я часть этой “сонатины”. В ней изображается динамическая ситуация любовного поражения “Бомбейского князя” Броуна, оказавшегося лишним в любовном треугольнике, но тем не менее нисколько не унывающего и предающегося гульбе под осенние мотивы и “стоны скрипки”, с ее настроением легкой печали перед отъездом. Психологический портрет героя представлен борьбой двух мотивов: один из них – осознание своего поражения в отношениях с Бэтси и Уэлсом, другой – буйный разгул, заглушающий уколы ревности. “Джин”, “виски” и “джига” (зажигательный морской танец) символизируют мотив разгульного преодоления любовной неудачи, а явно ироническая насмешка над сентиментальными народными песенками о “пташечках”, “приятной Пэгги” и “слезах” несчастной любви подчеркивают “гордую” удаль “морского черта” Броуна, готового “самому лорду дать в морду”. Два переплетающихся лирических мотива, подобно развитию темы инструментальной сонатной формы [4. С. 160–161], контрастно оформлены “темброво” и метро-ритмически.

На фоне перепадов метра, размеров и неурегулированной рифмы подвижной (аллегровой) 1-й части “сонатины” 2-е стихотворение миницикла под названием “Именины” передает танцевальный ритм праздничной именинной кутерьмы и рисует статичную (умеренно замедленную по типу *moderato*) сцену любовного флирта. При этом “эпизод как средняя часть инструментальной формы” [4. С. 166] изображается урегулированным трехстопным ямбом с соблюдением правила альтернанса:

Ах, вишни, вишни, вишни,  
На блюдах и в саду.  
– Я, может быть, здесь лишний,  
Так я тогда уйду...  
– О нет! – ликуют ушки.  
Веселый взгляд какой!  
И поправляет рюшки  
Смеющейся рукой [5. С. 266].

В 3-й части “Английских картинок” под названием “Возвращение” рваные ритм и синтаксис, мужская монорифма, сгущение акустических образов (*часы буркнули, бабушка охнула, малый влетел, как шквал; хлопнул грога бокал, дом загудел, как улей; скрип, беготня, шум*) и звукоподражательных слов (*бом, бум-бум, пиф-паф, гуп-гуп*) передают бурное чувство радости возвращения домой из далекой Индии. В контексте всего миницикла для ликования возникает и другая причина – “рябая Нелли”, предусмотрительно отдающая на ночь “свою каморку” “небезусому мальчику”. Как знаток музыкальной формы, поэт Кузмин в 3-й части сюжетно возвращается к 1-й части, родственной *содержательно* (эротическая победа) и *формально* (поскольку снова отступает от классического стихового размера).

В целом, малый жанр *сонатины*, обозначенный автором, действительно создает впечатление контрастирующих композиционных отрывков непритязательной трехчастной инструментальной пьески. Благодаря перепадам классических и неклассических размеров и длины стиховой строки – аналогам музыкальных периодов, а также в соответствии с содержанием, 1-я часть, названная “Осенью”, имитирует динамичное сонатное *Allegro*; наиболее статичная сцена праздничной суматохи и игривого диалога влюбленных, в отступление от очерченного сюжета, параллельна отчетливому эпизоду – умеренному *moderato* 2-й части; а перепады ритма, рваный синтаксис, неурегулированное чередование клаузул производит впечатление мажорно звучащего в манере *staccato* ожидаемого финала, который разрешается малой, но многозначительно бравурной кодой: *Гуп-гуп Вест-Индия!*

Таким образом, виртуозно владея стиховой речью, Кузмин в одном миницикле легко и как бы полужути предельно сближает иррациональный “язык богов” – музыке – и рациональный “язык слов”, *сознательно структурируя лирическую разработку фривольной темы по аналогии с облегченной формой инструментальной музыки.*

Думается, в подавляющем большинстве лирических произведений Кузмина столь прозрачную параллель между музыкой и поэзией обнаружить вряд ли возможно, но очевидно, что многие кузминские поэтические картины созданы под непосредственным воздействием как народной песенности, так и классических форм вокальной музыки (ср. *кантату* “Святой Георгий” или *оду-ораторию* “Враждебное море”) и даже чисто инструментальной (см. ассоциации известного цикла “Форель разбивает лед” с *квинтетом* Ф. Шуберта “Форель”). Проблемы их музыкальности, эстетической общности с искусством звуковой гармонии еще ждут специального изучения.

---

*Литература*

1. *Ермилова Е.В.* О Михаиле Кузмине // Михаил Кузмин: Стихи и проза. М., 1980. С. 12.
2. *Кузмин М.А.* Декларация эмоционализма // Абрассас. Пг, 1923. Февр. [№ 3]. С. 3.
3. *Васюточкин Г.С.* Ритмика “Александрийских песен” М. Кузмина // Лингвистические проблемы функционального регулирования речевой деятельности. Л., 1976. Вып. III. С. 158–167.
4. *Праут Э.* Музыкальная форма. Пер. с англ. М., 1917.
5. *Кузмин М.* Избранные произведения / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. А. Лаврова, Р. Тименчика. Л., 1990. С. 266.

*Петрозаводск*





*“Повторяю за Пушкиным вслед...”*

© Л. Л. БЕЛЬСКАЯ,  
доктор филологических наук

*Безмолвствуешь, как пушкинский народ.*

*Н. Горбаневская*

*Слава – яркая заплата. Это Пушкин написал.*

*Б. Кенжеев*

Казалось бы, что общего у столь непохожих поэтов разных поколений, как Наталья Горбаневская и Бахыт Кенжеев. Ну, скажете вы, они оба обитали какое-то время в Ленинграде-Питере и сохранили привязанность к этому городу; оба были диссидентами и нонконформистами и публиковались в самиздате, потом эмигрировали из Советского Союза и теперь живут она – во Франции, он – в Канаде. Но это биографические переклички. А есть и творческие – они ощущают себя наследниками русской классической поэзии и любят ссылаться на поэтов-предшественников, цитировать их: “чтобы подслушать у кого угодно и не сумняшась выдать за свое” (Горбаневская), “Или и впрямь настоящее – только цитата / из неизвестного? Полно отыскивать сходство / между чужим и своим...” (Кенжеев). И главным, постоянным спутником и собеседником обоих является “солнце русской поэзии” – Пушкин. К примеру, они оба описывают один и тот же памятник великому поэту в Москве на Тверском бульваре: «А тот, в плаще, в цепях, склонивши кудри, / неужто всё про свой “тяжелый век”»? (Горбаневская); “Поэт, / чуть улыбаясь, смотрит с постамента / чугунного... а глупые студенты, / хихикая, перевирают строки / про милость к павшим...” (Кенжеев). У него на письменном столе стоит статуэтка – “печальный Пушкин на скамейке, в цилиндре, с деревянной тростью”. И автор до поздней ночи засиживается над “ветхим Пушкиным” и предается “пушкинской лени”.

В кенжеевских стихах много цитат и реминисценций из пушкинских произведений: “Лета к суровой прозе клонят, / Лета шалунью рифму

гонят”, “бездны мрачной на краю”, “Так куда ж нам плыть?”, “Пора, мой друг, пора”, “Я сам мещанин – повторяю за Пушкиным вслед”, “такие бесы в небе крутятся”, “Глаголом сердца охладевшие жег”, “дуй, ветер осени – что ветер у Пушкина – один на свете”, “в края, где белка молодая орех серебряный грызет”, “недавно нас пленяли сны надежды, славы, тихой веры”.

Под пером Бахыта Кенжеева оживают и пушкинские герои. То кот ученый превращается в сегодняшнего черного бестолкового котяру, который мяучит на балконе и не поддается дрессировке. То князь Гвидон из бочки винной вышел на “трезвый брег”, и весь “саниенс людской”, тоже “из бочки выбив днище, кроме хлеба, также ищет счастье, вольность и покой”. То сам поэт в молодости “над златом чах”, как Кощей, и кто-то ему “назначит смерти срок” и над рюмкой “развинтит перстенок”, как Сальери.

Не ограничиваясь осовремениванием высказываний и персонажей Пушкина, Кенжеев обыгрывает и его афоризмы, развивая и продолжая их, а порой строя на них целые стихотворения. Так, взяв знаменитые строки об обращении в зрелости к прозе и прощании с рифмой, он сначала рисует персонифицированный портрет рифмы, похожей на Музу: “ее прозрачные глаза / омыла синяя слеза / она уже другому снится / диктует первую страницу / и радуясь его письму / ерошит волосы ему” (без знаков препинания); затем живописует метафорическую картину взросления и старения человека и перехода его от поэзии к прозе:

Когда в беспечном море тонет  
жизнейской юности челнок  
полночный ветер валит с ног  
к суровой прозе годы клонят –  
душа качается и стонет  
и время погибать всерьез  
шалунью рифму годы гонят  
из теплой кухни на мороз.

(“Лета к суровой прозе клонят”, 1967)

А оборванная пушкинская цитата “Слава – яркая заплата...” (“на ветхом рубище певца”) оборачивается то зарплатой, то бокалом шампанского, то просто словом, уходящим во сне, “вроде рюмки алкоголя, вроде флоксов на столе, вроде ветра в чистом поле, в вологодском феврале” (“Я шагал с эпохой в ногу...”, начало 90-х годов). Или, начав стихотворение с патетического заявления “Как я завидую великим!”, поэт далее иронизирует над собой, сравнивая себя с “полупьяным котом ученым”, и посмеивается над Пушкиным: “Ах Пушкин, ах обманщик ловкий! / Не поддаются дрессировке / коты” (“Как я завидую великим!”, 90-е годы). Или неожиданно признается, что тщится переписать свою

“утлую жизнь” по Пушкину и Толстому: “Мой заплаканный, право, неважно...” [1].

Нередко цитирует пушкинские стихи и Наталья Горбаневская, но обычно вспоминает другие строки: “берег, милый для меня”, “на мой закат печальный”, “светла адмиралтейская игла”, “русский от побед отвык”, “не печалься, всё пройдет”. Как и Кенжеев, точному цитированию она предпочитает реминисценции, переделки, намеки: “В начале жизни помню детский сад” (у Пушкина “школу помню я”), “Там на неведомых дорожках серебра / Свисают паруса и сохнут весла”, “И кормщик погиб, и пловец, а певец – это ты или кто-то?”, “И узелок заплатанных платков / Повешен на воротах Цареграда”, “среди беготни устойчиво мышья”. А вот как неузнаваемо преображен эпиграф к Первой главе “Евгения Онегина” из Вяземского “И жить торопится, и чувствовать спешит” – “и жить не хочется, и чувствовать не стоит”.

Если Б. Кенжеев упоминает о “пушкинском лени”, то Н. Горбаневская пишет о “пушкинском народе”, который безмолствовал, и о “пушкинской осени”, об “Арзамасе” и о снеге на Черной речке. Если Кенжеев любит иронические игры с пушкинскими образами и цитатами, то Горбаневская создает вариации на стихи Пушкина, переосмысливая его мотивы и сюжеты, подчас уже в зачине ссылаясь на оригинал: “Опять собирается вещей Олег” (1967), “Я вам звоню, хоть и бешусь” (1979), “Не дай мне Бог сойти с ума” (начало 80-х), “Со мною друга нет” (конец 80-х годов)

Первое стихотворение – комментарий к “Песни о вещем Олеге”. Подчеркивая повторяемость ее ситуаций (“опять собирается”, “снова заплачет над черепом князь”, снова выползет гробовая змея, “шипя и смеясь”), поэтесса спрашивает, стоит ли верить предсказаниям кудесников, и советует не пытаться узнавать свою судьбу:

Так будь ты сторук, и стоуст, и столик,  
а встретится лживый, безумный старик –  
не спрашивай, право, не стоит.  
Все косточки в горсточке Господа спят,  
ковши круговые запенясь шипят  
и шипу змеиному вторят [2].

Второе стихотворение “А будь он нынешний ...” основано на гипотетическом предположении, что было бы, если б Пушкин жил в наше время: «А будь он нынешний, сейчасный, / писал бы он в припадке чувств: / “Я Вам звоню, хоть и бешусь, / хоть это стыд и труд напрасный...”»? Автор посмеивается над собой и своими современниками, у которых в собраниях сочинений не будет переписки, а лишь “телефонные счета и неоплаченные пени”. Но и в “век стальной и деловитый” возможна любовь. И если нет взаимности, то “хоть позвони, хоть позо-

ви, / хоть растопи стихами снег / и измени течение рек, / хоть зарифмуй мольбу молитвой” – в ответ услышишь по телефону молчание, и в этом “трагикомический твой крест”. Так ирония сменяется драматической нотой.

В стихотворении “Ночь. Снег. Тишь. Тьма” звучит пушкинский мотив ужаса перед безумием. В отличие от классика, который перечислял предпочитаемые варианты (“посох и сума”, “труд и глад”), Горбаневская перебирает условия, обстоятельства сумасшествия: “Не дай мне Бог сойти с ума / во тьме, в тиши, в ночи, в снегу...”. Если Пушкин мечтал о воле, о бегстве на лоно природы, то у современного поэта нет этого выхода. В чем же спасение?

Завешу окна, свет зажгу,  
камин затапливать начну, (ср. у Бунина – “камин затоплю”)  
в эфире выловлю волну,  
и запоет она сама:  
– Нет, лучше посох и сума...

Успокоение за занавешенным окном эфемерно, временно, о чем и напоминает пушкинская строчка.

По мотивам Пушкина написано и стихотворение из “Седьмой книги” (1993) “Со мною друга нет”. Когда-то бывший лицеист скучал по своим друзьям, печалился о близком друге: “с кем горькую запил бы я разлуку” (“19 октября 1825”). Нынешний автор не готов “ни запить разлуку, ни начать жизнь новую”. “Светлая печаль” оказывается “печалью свинцовой”, когда жизнь “в зубах навязла приторней тянучки”. И вместо гамлетовского вопроса “быть или не быть?” решается проблема – пропить получку или не пропить. И за всё приходится отвечать:

За то, как смеет быть светла печаль,  
за жгучий плач, за лучики-колючки  
не видных звезд за стенкой воронка.

Светлая пушкинская печаль вплетается в жуткую атмосферу XX века, “жесточкого века” с его тиранией, репрессиями, воронками и тюрьмами, а сверху мерцают колючки звезд, напоминающих о Мандельштаме. “Пушкинская осень” царит над мандельштамовскими “тосканскими холмами”, “облака плывут” (по Галичу), и “оиять из рук ветхий Данте выпадает”, как некогда из пушкинских рук. Так, с одной стороны, Горбаневская отталкивается от отдельных стихотворений Пушкина и пользуется прямой цитацией, а с другой, – прибегает к завуалированным аллюзиям и ссылкам на разные источники.

Аналогично поступает и Кенжеев, создающий фантазии на темы русской и мировой классики.

Не гоняй и ты по пустому блюдцу  
наливное яблочко – погляди, как,  
не оглядываясь, облака несутся,  
посмотри, как в дивных просторах диких  
успокоившись на высокой ноте,  
словно дура-мачеха их простила,  
спят, сопя, безропотные светила,  
никогда не слышавшие о Гёте.  
(“Лгут пророки, мудрствуют ясновидцы...”)

Тут и мачеха-дура, и наливное яблочко из пушкинской сказки, и тютчевское предложение посмотреть вокруг, и его любимый эпитет *дивный* (“Смотри, как на речном просторе...”, “дивная пора”), и неожиданное упоминание о Гёте с его интересом к небесным светилам [3].

Итак, поэзия Пушкина сопровождает и Наталью Горбаневскую, и Бахыта Кенжеева на всем протяжении их творчества – от ранних опытов 60-х годов (“Опять собирается вещий Олег...” и “Лета к суровой прозе клонят...”) до зрелой лирики 90-х: “рифма, легкая подруга, решает квадратуру круга” («И снова на вопрос “Откуда?”») и “Печаль моя тесна” (“Есть нечто в механизме славы...”).

Не “ветхий”, а живой Пушкин входит в сегодняшнюю жизнь и современную поэзию и по-прежнему является поэтическим и нравственным ориентиром для многих людей.

### *Литература*

1. Кенжеев Б. Названия нет. Алматы, 2005.
2. Горбаневская Н. Не спи на закате. М., 1996.
3. Жолковский А. Блуждающие звезды. Из истории русского модернизма. М., 1992.

*Цфат,  
Израиль*

## Маршрутка, зачетка, социалка

### Наименования с формантом *-ка*

© Д. В. АКУНЬЕВА

Пополнение словарного состава языка словами, выступающими в роли синонимов словосочетаний, является одной из важных функций словообразования. Наблюдения показывают, что разговорная речь, когда дело идет о наименовании, постоянно стремится “вытолкнуть” из потока речи сочетание слов и заменить их единым словом. Явление это в лингвистической литературе известно под различными терминами, например: “синтаксическое сжатие”, “стяжение”, “семантическая конденсация”, “включение”, “универбация” [1].

В системе русского языка выработаны определенные правила семантической конденсации, схемы, интегрирующие словосочетание в слово. Стяжения способом аффиксальной деривации осуществляются в случаях замены атрибутивного словосочетания существительным, непосредственно образованным от основы мотивирующего прилагательного посредством суффикса. При этом исчезает родовое существительное, а спецификатор наименования сохраняется. Например: *вечерка* (вечерняя газета), *маршрутка* (маршрутное такси), *тушенка* (тушеное мясо) и т.д. Слова такого типа появлялись и продолжают появляться в большом количестве, что свидетельствует об активности данного процесса в современном русском языке.

Некоторые семантические микрополя почти полностью заполняются подобными наименованиями. Например, названия круп и каш в разговорной речи: *манка*, *гречка*, *овсянка*, *перловка*, *пищёнка* и т.д., а также названия помещений по действию, в них совершаемому, или по лицу, работающему в нем: *сортировка*, *операционка*, *дежурка*, *монтажка*, *мойка*, *прорабка*, *столярка*, *слесарка* и т.п.; официальных бумаг, документов: *сопроводилка*, *пенсионка*, *зачетка*, *похоронка*. Типичны сокращенные наименования в названиях площадей и зданий, больниц и библиотек, выставочных залов и т.п.: *Таганка*, *Серпуховка*, *Новобасманка*, *Склифосовка*, *Третьяковка*, *Историчка*, *Академичка*, *Щедринка*, *Дзержинка* и т.д.

Термин *универбация* впервые употребил К. Бургман в 1904 году. Отдельные замечания о процессе универбации можно встретить у

М. Докулила, различавшего собственно образование новых слов и образование слов посредством простой переделки уже существующего наименования. В научную филологическую практику термин (универбация) введен Е.А. Земской и определяется как “способ словообразования на основе словосочетания, при котором в производное слово входит лишь один из членов словосочетания, так что по форме производное соотносительно с одним словом, а по смыслу – с целым словосочетанием” [2].

Следует уточнить, что суффикс *-к(а)* используется в различных словообразовательных типах, то есть выступает в омонимичных вариантах. Так, среди образований на *-к(а)* выделяются отглагольные существительные (*стрижка, зимовка*), существительные с субъективно-оценочными значениями (*песенка, яблонька*), существительные с десемантизированным суффиксом *-к(а)*: *площадка* (посадочная) и т.д. В этих случаях дериват формально и семантически мотивируется одним и тем же словом. Универбаты же формально мотивируются именами прилагательными и существительными, а семантически – словосочетаниями.

Можно говорить о структурной и семантической функциях суффикса *-к(а)* в универбатах. Структурная функция связана с его организующей ролью в создании новой единицы, что включает грамматическую функцию, являющуюся средством индикации частеречной принадлежности слова (всегда – имя существительное) и деривационную, позволяющую преобразовать номинативное словосочетание в однословную единицу.

Семантическая функция выражается в передаче смысловых отношений между универбатом и мотивирующим словосочетанием.

А.И. Исаченко понимал универбацию широко, считая, что «история каждого слова – это история перехода из разряда “мотивированных” словописаний в разряд немотивированных слов-знаков» [3].

В работе многих лингвистов получила развитие идея Я. Розвадовского об исконной двучленности возникающих понятий, а следовательно, и их наименований. Утрата первоначальной расчлененности наименования является одним из основных законов развития лексики вообще, а сущность развития наименования заключается в том, что “один из элементов номинации, состоящей по происхождению из двух элементов, утрачивает свою самостоятельность, в связи с чем происходит объединение этих элементов в одно целое, так сказать, универбация – переход слова из категории мотивированных в категорию немотивированных” [Там же].

Данный тип семантического стяжения действует преимущественно в сфере разговорной речи; хотя некоторые лексемы этого образца употребляются и в кодифицированном языке (в нейтральном стиле), но они являются заимствованиями из разговорной речи. Слова типа *открытка, зачетка, электричка* широко распространены во многих

жанрах кодифицированного литературного языка, каждое из них уместно в газете, радиопередаче, но на почтовой карточке значилось “открытое письмо”, на титуле студенческого документа – “зачетная книжка” и т.д.

Таким образом, существительные-универбаты осваивают наименее официальные, самые нестрогие языковые жанры. Характерно, что в книжной речи очень часто эти слова даются в кавычках.

С другой стороны, в разговорной речи неуместны “открытое письмо” и “электропоезд”. Употребление этих наименований может расцениваться как невладение разговорной лексикой (так может сказать иностранец).

В живой разговорной речи постоянно образуются окказиональные существительные-универбаты, часто шутливые. Например, “коридорки”, (коридорные системы), на “военке” ( на военном положении).

Формально тождество с универбатами имеют иные типы наименований, оканчивающиеся на *-к(а)*.

Так, значимость формального показателя при прозрачности внутренней формы слова и ясности связи между производным и производящим позволяет выделять существительные на *-к(а)*, мотивированные глагольной основой. Подобные образования толкуются в словаре путем отсылки к производящему глаголу. Например: *растирка*: 1. см. *растирать*; 2. приспособление, которым стирают что-либо. В подобных случаях отсутствует синоним, а также стиливая помета. Здесь имеет место экономия речевых средств иного рода, а именно полисемия, т.к. слова типа *обивка*, *разработка* обозначают и само действие, и его результат, а иногда и средство осуществления действия.

К отглагольным существительным относятся также те, в которых *-к(а)* входит в состав суффикса *-лк(а)*, типа *зажигалка*, *поилка* и т.п. Значение подобных слов может быть раскрыто путем толкования, когда обнаруживается связь между производным и производящим. Например, в Большом Академическом Словаре *поилка* толкуется в первом значении как “сосуд, из которого поят домашний скот, птицу”, во втором – как “чашечка с длинным носиком и полужакрытым верхом, из которой поят слабых больных”.

К наиболее близким к универбатам по словообразовательной модели относятся *конденсаты*. Этот термин введен в лингвистический обиход Л.А. Капаназде. Под конденсатами понимаются существительные на *-к(а)*, образованные от основ прилагательных, не имеющих синонимичных вариантов наименований, но имеющих мотивирующее словопризнак. Отсутствие у конденсатов синонимического, соответствующего полного варианта наименования определяется как главное отличие их от универбатов.

В работах Е.Н. Земской для обозначения конденсатов используется понятие “результат универбации”.

Анализ конденсатов в семантико-тематическом и функционально-стилистическом аспектах позволяет сделать вывод, что данный тип наименования является традиционным для русского языка, характерным для всех периодов его развития: *гренадерка* (доревол. “головной убор гренадеров”), *матроска* (“шапка типа форменной матросской бескозырки”) и ушанка (“зимняя шапка с ушами”); *тюленка* (в XVII – XIX вв. небольшое парусное судно, применявшееся для тюленьего промысла”) и *нефтянка* (1) “нефтяная промышленность; 2) судно для перевозки нефти”); *пудовка* (устар. “кадушка, ведро емкостью в один пуд”) и *литровка* (“посуда вместимостью в один литр”) и т.д. Таким образом, подтверждается действие закона экономии языковых средств. Несомненно также, что конденсация является актуальным способом номинации, о чем свидетельствует появление конденсатов – сокращенных наименований популярных предметов и явлений современной действительности: “сталинка”, “путинка” и т.д. (архитектурные типы элитного жилья), *социалка*, *автогражданка* и т.д.

Конденсаты функционируют и в сфере профессионального общения (*анатомичка* – специально оборудованное помещение, в котором производится вскрытие трупов, ... для чтения лекций по анатомии; *подкорка* – “подкорковые нервные центры”; *штурмовка* – “операция штурмовой авиации” и т.д.), а также выступают как наименования специальных понятий и объектов научной области, т.е. являются терминами (*пестрянка* – дневная бабочка с яркими пестрыми крыльями; *нитчатка* – круглый нитевидный червь, паразитирующий в теле человека и животных и т.д.).

Следует отметить, что конденсаты, в отличие от другого типа сокращенных наименований – унвербатов – не имеют синонимичных вариантов наименования, и значение их раскрывается путем толкования.

### Литература

1. Янко-Триницкая Н.Н. Процессы включения в лексике и словообразовании // Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., 1964.
2. Земская Е.А. Русская разговорная речь. М., 1981. С. 82.
3. Исаченко А.В. К вопросу о структурной типологии словарного состава славянских литературных языков. Прага, 1958. С. 338.

## О современном коммуникативном этикете

© Р. А. ГАЗИЗОВ,  
кандидат филологических наук

Современный этикет – многоаспектное и сложное явление. Этикет – феномен коммуникативный, который выступает в общении чаще всего как комплексное явление. В коммуникативном акте важны не только единицы речевого этикета, но и внешний вид общающихся, их правила поведения, невербальные компоненты общения, которые все вместе и составляют коммуникативный этикет. В целом коммуникативный этикет можно определить как совокупность стандартизованных норм и правил социального поведения, регламентирующих коммуникативные взаимодействия участников общения в различных сферах человеческой деятельности в соответствии с социальными предписаниями и требованиями.

В своем определении коммуникативный этикет сближается с понятием коммуникативного поведения, представляющего собой реализуемые в коммуникации нормы, правила и традиции общения той или иной лингвокультурной общности и включающего такие компоненты, как 1) национальный характер общающихся, 2) доминантные особенности общения, 3) вербальное коммуникативное поведение, 4) невербальное коммуникативное поведение, 5) национальный социальный символизм [1].

Являясь компонентом коммуникативного поведения, коммуникативный этикет, в свою очередь, образует совокупность следующих составных частей: социально предписанная форма этикетного поведения, или этикет поведения; социально предписанная форма этикетной внешности, или этикет внешнего вида; вербальный коммуникативный этикет, или речевой этикет; невербальный коммуникативный этикет.

*Социально предписанная форма этикетного поведения, или этикет поведения*, связана с общепринятыми правилами поведения человека в обществе или с так называемыми правилами хорошего тона, отражающими вежливое, доброжелательное отношение к окружающим. Т.В. Цивьян понимает под этим термином “правила ритуализованного поведения человека в обществе, которые отражают существенные для данного общества социальные и биологические категории” [2. С. 144]. Этикет поведения определяет коммуникативное поведение людей в общественных местах, дома, на улице. Данный компонент коммуникативного этикета предполагает также соблюдение определенных правил, предписаний, связанных с осуществлением профессиональной деятельности.

*Социально предписанная форма этикетной внешности, или этикет внешнего вида*, представляет собой “принятые в обществе требова-

ния к внешнему виду членов общества, признаваемые образцовыми для тех или иных ситуаций” [3. С. 28]. Этикетная внешность человека является условием создания благоприятного впечатления о нем и расположения к общению с данным человеком. При описании этикета внешнего вида важно учитывать стиль и фактуру одежды, цветотипы (темный – светлый, холодный – теплый, яркий – приглушенный), аксессуары, например, ювелирные украшения, часы, мобильный телефон, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, ручка, зажигалка.

*Вербальный коммуникативный этикет, или речевой этикет, является, на наш взгляд, основным компонентом коммуникативного этикета. Речевой этикет всесторонне исследован в работах Н.И. Формановской. Ее определение наиболее полно раскрывает сущность речевого этикета, под которым “понимаются регулирующие правила речевого поведения, система национально специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности” [4. С. 9].*

По справедливому замечанию А.Г. Балакая, “знаки речевого этикета не “пустые формальности”, не “прикраса речи”, а самостоятельные культурно-исторические ценности, важнейшие средства регуляции поведения, без которых не может обойтись ни один человек, ни одно общество” [5. С. 4]. Единицы речевого этикета представляют собой “языковые богатства, которые накопились в каждом обществе для выражения неконфликтного, “нормального” отношения к людям <...>” [6. С. 47].

Речевой этикет в силу многократного повторения в типичных ситуациях непосредственного общения существует в виде стереотипных, клишированных фраз, устойчивых коммуникативных единиц. В целом шаблон речевого поведения, регулирующими правилами которого является вербализованный этикет поведения, обусловлен стереотипностью бытовых ситуаций: “Говорение в связи с определенными шаблонами быта влечет образование целых шаблонных фраз, как бы прикрепленных к данным бытовым положениям и шаблонным темам разговора” [7. С. 175]. В связи с этим речевой этикет можно определить как функционально-семантическую микросистему устойчивых стереотипных единиц языка, привязанных к шаблонным ситуациям.

И. Вольф определяет речевой этикет как “правила игры в общении с партнерами, детьми, родителями, коллегами по работе, друзьями и конкурентами, <...> формы для общения с другими людьми” [8. С. 6].

Оформление высказываний на уровне речевого этикета происходит в форме диалога, при этом собеседники в момент контакта обмениваются репликами, первая из которых является репликой-стимулом, вторая – репликой-реакцией. Как правило, первая реплика диалогического единства оказывается “а) наиболее уместной в данной (официальной/неофициальной) обстановке общения; б) соответствующей харак-

теру взаимоотношений общающихся (как постоянных, так и в момент общения); в) связанной с социальными признаками говорящего, а также наиболее привычной и излюбленной для него; г) наиболее приемлемой для адресата в связи с его социальными признаками” [4. С. 128]. Вторая реплика – реплика-реакция – исходит от адресата, учитывающего как обстановку общения и социальные признаки адресанта, так и заданную репликой-стимулом тональность общения.

Наряду с вербальной составляющей этикета существуют также невербальные этикетные средства, т.е., по нашему определению, *невербальный коммуникативный этикет* (кивок, похлопывание по плечу, поднятие или пожатие руки, объятия, поцелуи в знак приветствия, разведение рук в стороны в знак извинения, хлопанье в ладоши в знак благодарности и т.д.). Тем самым они выступают в качестве самостоятельных средств коммуникации, характеризующихся определенным планом содержания: “Все паралингвистические явления в достаточной степени информативны и несут информацию (одновременно) о трех группах фактов, характеризующих адресанта: 1) о его индивидуально-человеческих качествах, 2) о его социально-групповых признаках и 3) о его национальных или территориальных атрибутах” [9. С. 52]. Так, в ситуации “Приветствие” можно просто ограничиться кивком, рукопожатием или поднятием руки, объятиями, поцелуями.

Перспективным и интересным представляется рассмотрение вопроса о типологии коммуникативного этикета. Так, в зависимости от сферы применения можно выделить следующие типы коммуникативного этикета: *повседневный, традиционный, праздничный, деловой, дипломатический, застольный, телефонный*. Данная типология является условной, поскольку нельзя провести четких граней между вышеперечисленными типами. В реальном общении они взаимодополняют друг друга.

Самый распространенный тип коммуникативного этикета – *повседневный* – охватывает правила коммуникативного поведения человека в быту, в общественных местах, на транспорте и реализуется в таких повседневных ситуациях общения, как “Знакомство”, “Приветствие”, “Прощание”, “Благодарность”, “Извинение”, “Просьба”, “Приглашение”, “Совет”, “Комплимент”, “Сочувствие”, “Соболезнование” и т.д. Разновидностями повседневного этикета служат *ситуативный этикет*, регламентирующий коммуникативное поведение человека в общественных местах (кинотеатре, театре, музее, библиотеке, магазине, на почте, в ресторане и т.д.), *дорожный этикет*, представляющий собой совокупность правил коммуникативного поведения водителей и пассажиров. Свод правил дорожного этикета регулирует взаимоотношения людей в общественном транспорте, с одной стороны, и способы поведения водителей на дороге, с другой. Причем, если коммуникативное поведение пассажиров определяется, прежде всего, неписанными правилами, принятыми в обществе для неконфликтного и безопасного перемещения в обще-

ственном транспорте, то коммуникативное поведение водителей той или иной лингвокультурной общности регламентируется: 1) официальными правилами дорожного движения, 2) условными сигналами, оформившимися в так называемую “азбуку световой и звуковой сигнализации” и 3) общим стилем вождения в той или иной стране. Последнее и отличает в целом коммуникативное поведение водителей разных наций.

Обычай и традиции народа составляют его традиционный этикет. В настоящее время данный тип коммуникативного этикета соблюдается не всеми представителями того или иного народа. Хотя значимость традиционного этикета для выживания определенной нации безусловна. Ярким примером традиционного этикета являются правила взаимоотношений в семье, а именно уважение и почитание старших младшими, родителей детьми.

*Праздничный этикет* связан с правилами поведения человека на праздничных мероприятиях. Причем эти правила могут сильно отличаться от правил поведения, предписываемых повседневным этикетом. Достаточно представить себе такие праздники, как карнавал в Бразилии, праздник пива (Oktoberfest) в Германии, русскую свадьбу, праздник всех святых (Halloween) в США и Англии и др., чтобы увидеть разницу в особенностях поведения людей во время праздников и в быту.

Проведение некоторых праздников может быть связано также с соблюдением определенных ритуалов (например, при рождении ребенка, на свадьбе и т.д.), во время которых поведение людей строго регламентировано. Такое поведение нельзя назвать этикетным, поскольку у участников ритуала нет возможности выбора, а этикет предполагает некоторую вариативность как в выборе речевых формул, так и тактик поведения. Напротив, “ритуал требует обязательного соблюдения не только самих обрядов, действий, сопровождающих самые важные вехи в жизни микросоциума, но и их последовательности” [10]. Ритуал представляет собой жесткое предписание. Несмотря на это он легко “уживается” с праздничным этикетом и даже является неотъемлемой частью некоторых праздничных мероприятий.

Общение на работе и во время деловых встреч определяется правилами и нормами делового общения. В связи с этим актуализируется *деловой этикет*, включающий в себя *служебный этикет*, или этикет служебного поведения, и *этикет деловых встреч*. Служебный этикет – это совокупность определенных правил коммуникативного поведения, правил внутреннего распорядка и служебных инструкций, принятых в сфере производства, услуг, науки и образования, культуры. Правила служебного поведения направлены на создание условий для гармоничного сочетания плодотворной деятельности предприятия и работы каждого сотрудника. Если служебный этикет регулирует взаимоотношения сотрудников внутри одной организации, то этикет деловых встреч – это правила коммуникативного поведения представителей

различных отечественных организаций и представителей иностранных компаний. Э.Я. Соловьев справедливо выделяет также *воинский этикет*, представляющий собой “свод общепринятых в армии правил, норм и манер поведения военнослужащих во всех сферах их деятельности” [11. С. 6], который, на наш взгляд, можно отнести к разновидности служебного этикета.

Установление, укрепление и интенсификация политических, экономических и культурных связей между различными государствами предопределили необходимость официальных контактов высокопоставленных лиц. Их взаимоотношения регулируются нормами *дипломатического этикета*, основной частью которого является протокол, т.е. “совокупность правил поведения правительств и их представителей по официальным и неофициальным поводам” [12. С. 17]. Итак, дипломатический этикет – это “правила поведения дипломатов и других официальных лиц при контактах друг с другом на различных дипломатических приемах, визитах, переговорах” [11]. Разновидностью дипломатического этикета является *придворный этикет*, представляющий собой совокупность норм поведения при дворах монархов.

Особого внимания заслуживает *застольный этикет*, связанный с правилами встречи гостей, сервировкой стола и приема пищи. Данный тип коммуникативного этикета “включает в себя две составляющих: с одной стороны – это и умение, и возможность хозяев по всем правилам накрыть стол и организовать прием гостей так, чтобы они получили удовольствие от пребывания в кругу приглашенных и хозяев, с другой стороны – это желание и умение гостей быть приятными собеседниками, прилагаящими усилия для того, чтобы поддержать настроение, отвечающее поводу встречи” [10]. Необходимо также отметить национально-культурную специфику застольного этикета той или иной лингвокультурной общности.

*Телефонный этикет* прописывает основные требования культуры общения по телефону, а также правила и приемы телефонного разговора. Необходимо знать и соблюдать, как отвечать на телефонный звонок, как обращаться к собеседнику, как задавать вопросы, как вести переговоры, чего не следует говорить, как пользоваться автоответчиком, как завершать разговор. Также важно уметь слушать собеседника, знать подходящее время для звонков. Во время разговора надо внимательно следить за своей дикцией, говорить четко и внятно. Голос зачастую выдает настроение человека, поэтому нужно контролировать эмоции. По мнению психологов, исход беседы на 90% решает не “что” говорится, а “как”. Именно от умения правильно воспринимать информацию, передаваемую тембром голоса, паузами и другими невербальными сигналами зависит эффективность общения. В конце разговора следует поблагодарить собеседника и попрощаться. Если связь неожиданно прервалась, то перезванивает инициатор звонка. При этом коли-

чество гудков не должно быть более пяти. Правилom хорошего тона считается проявление внимания к вопросу занятости собеседника в момент звонка.

Стремительное развитие услуг мобильной связи предопределило разработку норм и правил мобильного общения. В этом случае можно говорить об *этикете мобильной связи* как разновидности телефонного этикета. Этикет мобильной связи, или сотовый, мобильный этикет, регламентирует правила пользования и общения по сотовому телефону. Основные требования мобильного этикета сводятся в целом к вежливости, тактичности, соблюдению интересов других абонентов и окружающих.

Таким образом, многообразие типов коммуникативного этикета, необходимость их реализации практически во всех сферах человеческой жизни позволяют сделать вывод о чрезвычайно важной роли коммуникативного этикета для человеческого бытия в целом.

### Литература

1. *Стернин И.А.* Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры // *Этнокультурная специфика языкового сознания*. М., 1996.
2. *Цивьян Т.В.* К некоторым вопросам построения языка этикета // *Труды по знаковым системам*. Тарту, 1965. Вып. 2.
3. *Стернин И.А.* Проблемы описания вежливости как коммуникативной категории // *Коммуникативное поведение*. Воронеж, 2003. Вып. 17.
4. *Формановская Н.И.* Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. М., 1987.
5. *Балакай А.Г.* Доброе слово: Словарь-справочник русского речевого этикета и простонародного доброжелательного обхождения XIX–XX вв.: В 2 т. Кемерово, 1999. Т. 1.
6. *Формановская Н.И.* Речевой этикет и культура общения. М., 1989.
7. *Якубинский Л.П.* О диалогической речи. В кн.: *Русская речь*. Петроград, 1923. Вып. 1.
8. *Wolff J.* Moderne Umgangsformen. Jeans oder Smoking? Niedernhausen/Ts.: Falken Verlag GmbH, 1991.
9. *Николаева Т.М.* К вопросу о назывании и самоназывании в русском речевом общении // *Страноведение и преподавание русского языка иностранцам*. М., 1972.
10. *Десяткина М.В.* Деловой этикет: теория и практика. Учеб. Пособие. Уфа, 1999.
11. *Соловьев Э.Я.* Современный этикет и деловой протокол. М., 2001.
12. *Вуд Д., Серс Ж.* Дипломатический церемониал и протокол. М., 1976.

---

---

## Модальные игры в момент общения

© Д. А. ПАРАМОНОВ,  
кандидат филологических наук

Игры бывают не только детские... В мире взрослых тоже есть место игре. Вот фрагменты из радиорекламы: “В бизнесе, как и в любой командной *игре*, необходимо учитывать одновременно множество факторов...”; “Для того чтобы эффективно вести дело, вы обращаетесь к бизнес-тренеру. Но финансами он с вами не поделится, потому что он все-таки теоретик *игры*...”. В книге, посвященной подготовке PR-менеджеров, читаем: “Что, по-вашему, делает компанию уникальной, отличной от других *игроков* рынка?”; “Финансист, подводя итоги года, думает о том, как эту информацию воспримут собственники, а не о том, что это повод поговорить со СМИ о тенденциях развития рынка и положениях его *игроков*” [1].

Речь идет о бизнесе (то есть о деле, если переводить это слово с английского), а тут, как видим, *игра* и *игроки*... Что уж говорить о спорте и искусстве! Там – игра в чистом виде. Среди множества игр, не дающих нашей жизни стать скучной, есть одна очень увлекательная. Причем в нее вовлечены все, даже те, кто, живя степенной взрослой жизнью, думает: “Я ни во что не играю. У меня все всерьез...”. Играет! Потому что участвует в общении, которое в ряде случаев является потрясающей игрой. Она может быть интереснее футбола, хоккея и шахмат, вместе взятых. В общении раскрывается необъятный внутренний мир человека. Все, о чем говорит один человек другому, передается не вообще как оно есть, а только с точки зрения того, кто говорит. Если я что-то видел, я об этом расскажу не как оно было само по себе, а как это увидел я. Если ту же самую картину наблюдал мой друг, он расскажет, как это видел он... Бывает же такое, когда на глазах у двух человек происходило одно и то же событие, но они настолько по-разному рассказали об увиденном, что у слушателя возникал вопрос: “А все-таки как было на самом деле?”. Не зря наши мудрые предки подметили: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Общаясь, мы не просто передаем другому человеку какую-то информацию, мы стремимся к тому, чтобы адресат нашего сообщения (слушатель/читатель) видел (воспринимал) эту информацию так же, как мы. Найти подходящие языковые средства выражения нашей мысли и тем самым подвести адресата к нашему пониманию (видению/восприятию) ситуации – это и есть главная цель игры – общения. Общение как игра очень ярко проявляется в сфере рекламы и, конечно же, в наших повседневных контактах. Когда нам нечего делать (бывает и такое!), мы садимся поиграть в карты, шашки, шахматы, лото, домино или ... снимаем телефонную трубку: “Привет! Как дела? Что нового?”. Два часа разговора – и вечер удался!..

Но мы занимаем себя общением не только от скуки... Общение как игра очень активно используется, если есть финансовый либо политический интерес: рекламная коммуникация и предвыборная агитация – яркие примеры использования главного средства общения – естественного языка – для достижения финансовых или политических целей. И от того, насколько эффективно мы сыграем, зависит, добьемся ли мы желаемого...

Язык – сложнейшая знаковая система. И разнообразие приемов игры ошеломляет: от простейших до самых изощренных!

Наши мысли мы выражаем с помощью предложений, состоящих из слов в определенных грамматических формах и неизменяемых слов. Слова обозначают предметы, признаки, количество и действия, а предложения – целые ситуации (события). Любая ситуация так или иначе связана с реальностью: она может быть *реальной, предполагаемой (воображаемой/гипотетической), возможной, невозможной, необходимой, желательной, нежелательной*... Все это проявляется в предложениях в виде особых значений, называемых *модальными*.

Когда нам что-то хотят сказать, не всегда говорят прямо, но мы без труда понимаем замысел говорящего или пишущего. В таком случае он как бы играет с нами: я тебе этого не говорил, но ты меня должен понять. Играть можно по-разному. Мы упрекаем нашего приятеля, опоздавшего на встречу на целых двадцать минут: “Ну ты молодец! На двадцать минут опоздал!”. А какой же он молодец, если опоздал?! Игра. Он-то понял, что ему хотели сказать!..

Пожалуй, одними их самых захватывающих игр в момент общения являются игры модальные. Еще бы! Все-таки игры с реальностью-нереальностью...

### Игра “Желание в смысле возможность”

В жизни каждого из нас бывают счастливые моменты, когда наши желания оказываются нашими же возможностями. Именно это учли авторы следующего рекламного текста: “Ogil&mate. Натуральная шведская косметика. ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ! ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ: 1. Хоро-

шо выглядеть. Сотрудничество с “Орифлейм” предоставляет возможность пользоваться скидкой 30–70%. 2. Иметь дополнительный заработок (от 1000 до 5000 руб.). 3. Отдых за границей”.

Реклама начинается со слова “желание”. Очень тонкий ход: читателю показали, что прежде всего он интересен как человек, у которого есть определенные желания; но то, что оформлено как описание *желаний*, на самом деле является описанием *возможностей*, которые будет иметь человек, если станет сотрудничать с организацией, продающей косметику “Орифлейм”, и пользоваться этой косметикой. Рекламируют-то “Орифлейм”, а не желания человека!

Вряд ли какое-либо из агентств согласится рекламировать наши желания: нас довольно-таки много и желания у всех разные... А вот возможности, предоставляемые нам производителем того или иного товара, рекламировать как раз имеет смысл: производитель один, а потенциальных потребителей, удовлетворению желаний которых будет способствовать товар, много... И чем их больше, тем лучше!.. Вот тут-то и помогает модальная игра «Говорим “желание” – подразумеваем “возможность”»: когда *возможности*, которые открывает использование товара, согласуются с нашими *желаниями*, реклама обязательно возьмёт действие! Искусные копирайтеры сказали нам, что хотели. Но как же все-таки приятно услышать в сказанном гораздо больше того, что прозвучало!.. Этим и хороши модальные игры!

#### Игра “Хочешь в смысле можешь”

Понятно, что *хотеть* и *мочь* – далеко не одно и то же. Но иногда мы говорим “хочешь”, а подразумеваем “можешь”: “И что? Там еще и выступать *надо*?! – *Хочешь* – выступи, *не хочешь* – не выступи!” Это то же самое, что “*можешь* выступать, *можешь* не выступать” или “*можно* выступать, а *можно* не выступать”. Слова “мочь” и “хотеть” выступают как смысловые эквиваленты и в следующем диалоге ведущего рекламной радиопрограммы и приглашенного в студию специалиста в области медицины. Ведущий: “Что бы вы *могли* сказать в завершение нашей передачи?” (сравним: Что бы вы *хотели* сказать в завершение нашей передачи?). Человек, которому был задан вопрос, воспринял значение слова *мочь* как *хотеть*. На это указывает его ответ. Врач: «Уважаемые радиослушатели! *Хочу* еще раз обратиться к вам: “Берегите ваши глаза!”. *Я хочу* напомнить еще раз телефон в Москве, где вы можете заказать препарат...».

#### Игра “Будете в смысле сможете”

В ряде случаев *будете* – то же самое, что *сможете*: “Найдите для себя наилучшее поле деятельности, и вы *будете* руководить и делать большие деньги в потрясающе короткие сроки” [2]. Адресованный читателю совет автора известной книги без изменения его содержания

можно сформулировать и так: “Найдите для себя наилучшее поле деятельности, и вы *можете* руководить и делать большие деньги в потрясающе короткие сроки”.

### Игра “Реальность в смысле гипотетичность”

В нашем повседневном общении мы, имея в виду гипотетически мыслимые ситуации (то есть ситуации не реальные, а только предполагаемые, воображаемые), часто представляем эти ситуации нашим слушателям как реальные в момент речи, до момента речи или после момента речи.

Во время телешоу ведущий говорит: «Итак, сегодня мы обсуждаем тему “Опоздание” – и обращается к одному из участников программы: “Вы *опаздываете* на работу. Ваши действия?”». Но этот человек в момент речи телеведущего никуда *не опаздывает*: он находится в зале и спокойно наблюдает за происходящим, поэтому “Вы *опаздываете* на работу” – это на самом деле “*Если бы вы опаздывали на работу*”. Телеведущий мастерски сыграл со зрителем: ситуацию, которая на самом деле мыслится только как гипотетическая (воображаемая/предполагаемая), он представил как реальную в момент речи.

“Зачем ты решаешь эту проблему?” – спрашивает папа у сына и продолжает: “*Пришел* ко мне, *рассказал* всё, и мы всё *решили* вместе”. Да не пришел сын к папе с просьбой решить проблему, а решил ее сам! Поэтому ситуация, обозначенная в сложном предложении “*Пришел* ко мне, *рассказал* всё, и мы всё *решили* вместе” является не *реальной*, а *гипотетической* (на самом деле – “*Пришел бы* ко мне, *рассказал бы* всё, и мы всё *решили бы* вместе”), но папа в момент общения играет с сыном, представляя ему гипотетически мыслимые ситуации (то есть ситуации, которых на самом деле не было!) как реальные, и не просто реальные, а такие, в которых действия уже завершились до момента речи (хотя этих действий вообще не было!).

Мама говорит взрослому сыну: “Ну уж я бы не полезла фотографироваться на оголенные корни дерева у обрыва. Это уж в крайнем случае, если надо откуда-то выбраться, я *буду карабкаться, цепляться...*”. Но мама имеет в виду: “Это уж в крайнем случае, если бы надо было откуда-то выбраться, я *бы карабкалась, цеплялась...*” (гипотетические действия представлены как реальные действия, которые будут осуществляться после момента речи).

### Игра “Реальность в смысле возможность”

Все мы хорошо понимаем, что реальность – это то, что есть, было или будет (если мы знаем то, что будет), а возможность – это то, чего еще нет, но что может быть. Но в процессе общения говорящие (пишущие) очень часто представляют слушающим (читающим) ситуации, яв-

ляющиеся только возможными, как реальные в момент речи, до момента речи или после момента речи.

Студент в холле университета читает рекламный листок, агитирующий молодежь пройти стажировку в одной из крупнейших компаний: “Ты сам *выбираешь* отдел, в котором будешь проходить стажировку”. Но студент во время чтения текста рекламы ничего не выбирает – он просто читает о возможностях, которые у него будут, если он решит стать участником этой акции. А текст объявления на самом деле гласит: “Ты сам *можешь (сможешь) выбрать* отдел, в котором будешь проходить стажировку”. И здесь игра: авторы рекламного текста, говоря о действии, которое мыслится только как возможное для читающих, но еще для них не является реальным, представляют как реальное действие, которое читающий уже осуществляет в момент речи (здесь и сейчас).

Очень часто нам приходится слышать: “А что туда ехать?! Всё просто. Сел на маршрутку и за 30 минут *доехал*”. Но на маршрутку еще никто не сел и за 30 минут не доехал! Речь идет о том, что можно (возможно) сесть на маршрутку и доехать за 30 минут. Опять игра: говорящий, сообщая слушающему о действиях, которые являются только возможными, но не являются реальными, представляет эти действия как реальные, уже завершившиеся до момента речи.

Возможное действие в момент речи часто представляется как реальное действие, которое осуществится после момента речи: “Да он *решит* любую задачу”, – говорит мама о своем сыне, имея в виду, что ее сын *сможет решить* любую задачу.

### Игра “Реальность в смысле желательность”

Все мы читаем объявления. Вот, например, такие: “Сдаю квартиру на длительный срок. Чисто, уютно”; “Продаю” (надпись на стекле автомобиля); “Покупают акции...”. Объявления – важный элемент нашей бурной экономической жизни. Какая уж тут игра?! И вообще, можно ли говорить о какой-то модальной, то есть языковой, игре в таком серьезном и деловом тексте, как объявления? Еще как можно! Если человек пишет “Сдаю квартиру на длительный срок...”, он имеет в виду “Хочу сдать квартиру на длительный срок” (поскольку в момент, когда он создает текст объявления, он только *хочет* сдать квартиру).

Игра “Реальность в смысле желательность” характерна не только для текстов объявлений. Она встречается и в условиях непосредственного общения. Во время телепередачи один из экономистов, обращаясь к коллегам, сказал: “Давайте сначала определимся, что мы *строим*, а потом будем принимать решение, как действовать”. Он, конечно же, имел в виду следующее: “Давайте сначала определимся, что мы *хотим построить*, а потом будем принимать решение, как действовать”.

Герои художественного фильма, одноклассники, встретившиеся через двадцать лет после окончания школы, рассказывают на вечере о

своих достижениях. Встречу ведет один из бывших школьников. Обращаясь с микрофоном к своему однокласснику, он говорит: «Вот наш Толя Линков. Толя, я *задам* тебе только один вопрос: “За что ты получил боевую награду в мирное время?”». На самом деле имеется в виду следующее: «Толя, я *хочу (собираюсь) задать* тебе только один вопрос: “За что ты получил боевую награду в мирное время?”».

Без игрового момента общение напоминало бы механическую передачу информации по принципу “отправил сообщение – воспринял – отправил ответ...”. Оно было бы лишено специфической человеческой “изюминки” – того, что не дает скучать ни говорящему (пишущему), ни слушающему (читающему). Нам ведь важно не только то, что говорится, но и то, как говорится и почему говорится именно так. Чем выразительнее форма, в которую облечена наша мысль, тем лучше запомнится ее содержание. Нас привлекает все необычное и яркое! Как у здания оригинальной конструкции и яркого цветового оформления больше шансов запомниться гостям города, так и у мысли с нетривиальным словесным выражением больше шансов привлечь умы слушателей (читателей). И остается только восхищаться возможностями русского языка, которые он дарит нам даже для обычного, повседневного диалога. Игры в момент общения захватывают. Но самое главное, чтобы у них были добрые цели.

### *Литература*

1. *Мамонтов А.А.* Практический PR (Как стать хорошим PR-менеджером). М. – СПб., 2008. С. 17, 131.
2. *Хилл Н.* Думай и богатей. Минск, 1995. С. 109.

## Рейдер и рейдерство

© Е. С. КАРА-МУРЗА,  
кандидат филологических наук

Экономические новации постсоветского времени приносят обозначения все новых реалий; в большинстве случаев это слова, заимствованные из английского языка. Бывает и так, что в активный оборот входит новое, производное словозначение (лексико-семантический вариант) слова, пришедшего раньше в другом значении, причем прежнее сохраняется в обоих языках, а новое еще не получает официальной лексикографической фиксации. Это произошло и с актуальными словами *рейдер*, *рейдерство* и *рейд*.

Базовые дефиниции первого значения даны в “Толковом словаре русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (см. любое издание). В русском языке есть омонимы *рейд* – “водное пространство у морского берега, удобное для стоянки судов”, пришедшее в русский язык из голландского (*reed*), и *рейд* – “набег, стремительное продвижение в тыл противника с целью осуществления боевых действий” – из английского (*raid*). От последнего произведено существительное *рейдер* (англ. *raider*) – “военный корабль, ведущий на морских путях самостоятельные операции по уничтожению противника”.

В новейших изданиях толковых словарей (например, в “БТСРЯ” под ред. С.А. Кузнецова, СПб., 2004 г., в “ТСРЯ с включением сведений о происхождении слов”, М., 2007) и словарей иностранных слов (например, в “Толковом словаре иноязычных слов” Л.П. Крысина, М., 2007) лексемы *рейд* и *рейдер* с русскими производными (*рейдовый*, *рейдерский*, *рейдировать*) приведены только в “старых” значениях.

Но и без обращения к словарям можно спрогнозировать содержание статьи с заголовком “Тульские медиарейдеры” и подзаголовком “Местные власти спускают на тормозах скандал с вооруженным захватом крупнейшей городской кабельной сети” (Независимая газета. 15.08.08). Смысл сложного слова *медиарейдер* мотивирован значениями основ и понятен из контекста: в статье критикуются действия представителей городских властей и противозаконная деятельность определенных лиц.

Конечно, словообразовательная группа с опорным словом *рейдер* в новом значении еще не освоена русским языком, при том, что в российском бизнесе это явление распространенное. В августе 2007 года Фонд “Общественное мнение” провел опрос, насколько россиянам знакомо и

понятно это слово. В 100 пунктах 44 областей России были опрошены полторы тысячи респондентов. Статистическая погрешность составила не более 3,5%. По данным опроса, значение этого слова знают лишь 23% россиян. Причем из этого числа больше половины затруднились дать определение, а два процента перепутали его со словами *риелтор*, *диггер*, *брокер* и *провайдер*. Впрочем, восемь процентов опрошенных дали вполне правильные, содержательные ответы: *рейдеры* – это люди, которые захватывают предприятия чужой собственности, насильственно отбирают бизнес, пользуясь несовершенным законодательством, это захватчики чужой собственности, стабильно работающего бизнеса, сельхозпредприятий, земель и проч. А еще два процента не дали развернутых дефиниций, ограничившись краткими негативными характеристиками: *рейдеры* – это мошенники, аферисты, жулики и бандиты.

Новые значения этих слов на русском языке можно найти в специализированных словарях. Наверное, самое раннее появление слова *рейдер* – это глосса *Raider* “Налетчик, физическое или юридическое лицо, приобретающее акции компании без согласия ее правления и использующее в этих целях процедуры покупки на открытых торгах” в переводном “Толковом экономическом и финансовом словаре. Французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология” Бернара и Колли (М., 1994). В “Большом экономическом словаре” под ред. А.Н. Азриляна *рейдер* определяется как “налетчик”, лицо, начинающее активно скупать акции компании с целью получения контрольного пакета. Здесь же приводятся выражения *рейд премиальный* и *рейд на рассвете*. Значение последнего – “практика быстрой скупки пакета акций компании (до 30% капитала) сразу после открытия биржи при подготовке ее поглощения” в Великобритании конца 70-х.

Историю становления новых значений у слов *raid* и *raider* в английском языке, толкование этих понятий, а также анализ нового для российской экономики явления *рейдерства* и его аспектов (*пейд*, *рейдер*) и объяснение этих терминов можно найти в Интернете. По данным сайта Bankir.ru, все началось в конце 90-х. Тогда вышла первая отечественная книга на западном материале – Н.Б. Рудык и Е.В. Семенкова “Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие поглощения и выкупы долевого финансирования”. Как свидетельствуют участники форума на этом сайте, с того времени “в обиходе этот термин (“рейдер”) всюду использовался среди специалистов. А СМИ популяризировали этот термин для обывателя в 2003 г. плюс-минус год”. Юридические фирмы, специализирующиеся на защите предпринимателей от рейдерства, на своих сайтах просвещают пользователей и рекламируют услуги: «Несколько лет назад термин “рейдер” вызывал недоумение и требовал разъяснений. Теперь он знаком практически каждому. В любом регионе можно найти печальные примеры работы рейдеров. Вопрос необходимости защиты от рейдеров рассматривается на самом высоком уровне. Однако число ком-

паний, подвергшихся рейдерским “налетам”, неуклонно растет...» (Questa consulting).

“Википедия” (ее самохарактеристика – “народная энциклопедия”) под рубрикой БИЗНЕС разместила словарную статью “Рейдеры”, с указанием, что у этого слова есть другие значения, и с замечанием, что “стиль этой статьи неэнциклопедичен и нарушает нормы русского языка”, а также стилистические правила самой Википедии. Однако считаем полезным привести ее толкование, сохранив правописание, но сократив примеры. «Рейдерство – поглощение предприятия против воли его собственника или руководителя. Люди, осуществляющие рейд по заказу со стороны, называются рейдерами. Термин рейдер пришел в Россию из США. (...) На Западе криминального оттенка в этом понятии нет. В каждом бизнесе есть те, кто играют не по правилам и нарушают закон. (...) Рейдерский бизнес – законный. Он проходит в рамках законов “Об акционерных обществах”, федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”, Гражданского и Уголовного кодекса. Рейдерство во всех странах беловоротничковый высокоинтеллектуальный юридический бизнес. С 2006 г. в России рейдерский бизнес становится все более правовым». По степени соблюдения законодательства различается белое, серое и черное рейдерство.

Лингвистическое толкование многозначного слова *рейдер* дано в Викисловаре по адресу <http://ru.wikionary.org/>. Словарная статья содержит значимые лексикографические параметры: это морфологические и синтаксические свойства, произношение и семантические свойства, родственные слова, этимология, фразеологизмы и перевод. Прочитываем статью с сохранением правописания и с сокращением морфологического комментария.

Значение “1. Морск.” дается очень близко к дефиниции из ТСРЯ и БСЭ и иллюстрируется примером из “Двух капитанов” В. Каверина.

2. Экон. “Человек, занимающийся операцией, которая с помощью уязвимостей в законодательстве позволяет получить владение над капиталом (обычно захватить предприятие)”. Здесь примеры отсутствуют, при том, что последнее обновление материала было 29.04.08. Синонимы и антонимы не приводятся. В качестве гиперонимов даются к первому значению слова “корабль, судно”; ко второму – “захватчик”. Родственные слова, по этому словарю, – *рейдерша, рейдерский, рейдерствовать* (отметим отсутствие частотного производного *рейдерство*). Этимология дается так: “происходит от Шаблон: этимология: рейдер”.

Итак, к 2008 году новое заимствованное значение английского слова *рейдер* вместе с его русскими производными *рейдерство* и *рейдерский* описывает механизмы перераспределения собственности, актуальные для мировой и российской экономики начала XXI века и неоднозначные с точки зрения закона и деловой этики. Вся лексико-семантическая группа активно употребляется в бизнес-сообществе и отображается в медиа-

дискурсе, прежде всего в деловой прессе. Можно считать ее новым приобретением официально-делового стиля русского литературного языка и задуматься о внесении этих словозначений (ЛСВ) во всем богатстве их предметных компонентов и стилистических оттенков в словарные статьи печатных толковых словарей и словарей иностранных слов.

Это сделать тем более желательно, что в лексикографической фиксации нуждаются не просто любопытствующие носители русского языка, но и правоведаы, и лингвисты-эксперты. Ведь тексты и высказывания с этими словами, преимущественно распространенные в СМИ, спровоцировали уже не один иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Со ссылкой на Фонд защиты гласности сетевое издание *gazeta.nv.ru* в № 95 (август 2008) опубликовала заметку “Дорогое достоинство депутата”. Депутат Законодательного собрания Пензенской области Л. предъявил иск к редакции еженедельной газеты “Репортер Пензы” и авторам статьи “Остановить в Пензе рейдерский беспредел!”. Он счел недостовверными и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию несколько фраз из этой критической публикации, в частности, такую: “Именно самый опасный, комбинированный способ рейдерского захвата с участием административного ресурса пытаются использовать Л. и стоящие за ним лица для захвата нашего предприятия”. В своем заявлении в правоохранительные органы истец указал: “Я не являюсь рейдером и не имею намерения совершать уголовно наказуемые деяния” – и попросил суд обязать ответчиков опровергнуть порочащие сведения и взыскать в качестве компенсации морального вреда один миллион рублей с редакции и 800 тысяч – с авторов.

Порочащими сведениями, согласно ст. 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации, считается недостоверная информация о нарушении человеком или организацией законодательства или деловой этики, или религиозной морали, или бытовых нравственных норм. Понятно, в чем старается оправдаться депутат Л., какие уголовно наказуемые деяния он подразумевает под словом *рейдер* – это незаконный захват предприятия. Понятно, почему он счел, что обозначение в статье некоторых действий как рейдерских порочит его как их участника, – потому что, согласно современному русскому узусу, назвать человека рейдером означает обвинить его как минимум в нарушении деловой этики, а как максимум – в совершении преступления в сфере предпринимательства.

В использовании слов, подобных слову *рейдер*, проявляется инвективная функция русского языка, которая реализуется в языковом конфликте и анализируется посредством судебной лингвистической экспертизы. Все это – новейшая реальность русского языка, которая заслуживает отдельного разговора.



### Еще раз о *Москве-реке* и *Москва-реке*

© Е. А. ЛЕВАШОВ,  
кандидат филологических наук

Словосочетание при структуре “географический термин (река) плюс географическое имя” традиционно и стандартно (над *рекой Москвой*). Возможна и обратная структура (географическое имя плюс географический термин): над *Волховом-рекой* (Соколов. Люблю мой город башенный); над *Ворсклой-рекой* (Соколов. Полтаву вспомяная); спросите, как *Двина-река* (Маяковский. Хорошо); matka *Кольма-река* (Горький. Жизнь Клима Самгина); по берегу *Мсты-реки* (Полякова. Утонула деревня в траве); спустился к *Олекме-реке* (Евтушенко. Алмазы и слезы); от фольклора (вниз по *Волге-реке*, гулять да за *Неву-реку*) до официального документа (из указа Екатерины II, 1768: на площади между *Невы-реки*, Адмиралтейства и Сената).

И, наконец, *Москва-река*: (Князь Юрий) взыде на гору и обзорев с нее очима своими сено и овамо по обе стороны *Москвы-реки*... (О начале царствования великого града Москвы XVII в.); *Москва-река* дремотною волной (Рылеев. Борис Годунов); на *Москве-реке* при самом царе (Лермонтов. Песнь про купца Калашникова); пила воду из *Москвы-реки* (Булгаков. Мастер и Маргарита); над замерзшей *Москвою-рекой* (Ваншенкин. Старая гравюра) и др. И оба члена словосочетания привычно склоняемы. Но – не всегда. Возьмем то же словосочетание *река Москва*, превратившееся в сложное слово *Москва-река*: “В речевой практике последних десятилетий наметилась тенденция склонять это название лишь в последней части: на *Москва-реку*, вдоль *Москва-реки*” [2]. Примеры из речевой практики: Ходу! За *Москва-реку*! (Маяковский. Рассказ про Клима из черноземных мест); Тянет свежестью из

*Москва-реки* (Ахматова. Черный сон); Потребна постройка одиннадцати мостов через *Москва-реку* (Вокруг света. 1947. Июль); Изумрудным ожерельем протянулись вдоль излучин *Москва-реки* сады и парки столицы (Красный Север. 1985. 30 авг.) и др.

Несклоняемость имени *Москва* в этом слове и словосочетании в свое время вызвала возражение Ф. Гладкова, увидевшего здесь отклонение от нормы: «В свое время мне удалось добиться склонения “*Москвы-реки*”». Итог подвел С.И. Ожегов [1], указав, что “отсутствие склонения в сочетании *Москва-река* – явление, типичное для старого московского просторечия”.

Но только ли московского? Если выйти за пределы этого конкретного случая, то можно отметить, например, в эпосе: Увидели, что по *Дунай-реке* едет лодочка дубовенькая; Поедем по *Иртыш-реке*; У *Амур-реки* крута гора; Не купишь-ко ты во матушке *Пучай-реке* и др. (Песни, собранные П.Н. Рыбниковым, 1861–1867; А.Ф. Гильфердинг. Онежские былины, 1873). Возьмем примеры с другими географическими терминами: Выг-озеро (Он [край] занимает всю ту местность, которая прилегает к берегам *Выг-озера*. М. Пришвин. В краю непуганных птиц); *Саян-гора* (Крым). Таким образом, “излишне категорично утверждение о склонении обеих частей в сочетании *Москва-река*, хотя многочисленные факты разговорной речи говорят о равноправном существовании и варианта на *Москва-реке*, по *Москва-реке*” [3].

Взглянем на связь географического термина и географического имени шире: давно замечено, что в сочетаниях первых со вторыми вторые в косвенных падежах вообще могут быть неизменяемыми, и это для литературного языка более чем тенденция: по сибирской реке Витим (Ганина. Страсти по Шекспиру), жители города Ровеньки (Фадеев. Молодая гвардия), в провинции Цзилинь (СПб. Ведомости. 2008. 10 июля); по охране озера Байкал (Правда. 1986. 9 марта), на острове Валаам (Штейн. Повесть о том, как возникают сюжеты), работница из поселка Лисий Нос (Сов. Культура. 1985. 8 авг.), во время работы в штате Калифорния (Б. Ясенский. Человек меняет кожу), в подмосковном селе Гжель (Веч. Петербург. 1995. 24 февр.), выборы главы Республики Карелия (СПб. Ведомости. 2002. 22 мая), генеральный прокурор кантона Женева (Совершенно секретно. 2002. 4 апр.), в долине полуострова Камчатка (Проскурин. Изначальные берега), на участке земли, отвоеванной у пустыни Каракум (Хорезмская правда. 1984. 10 марта) и др. Сюда следует отнести и ойконимы на *о* с их самостоятельным стремлением к неизменяемости. Как видим, в подобных примерах задействованы почти все виды географических терминов, то есть имеем дело с определенным языковым явлением.

Надо полагать, что при взаимодействии географических терминов с географическими именами работают некие свойства имен собственных – слов, “глубоко отличных от имен нарицательных” (Л.В. Щерба. Опыт

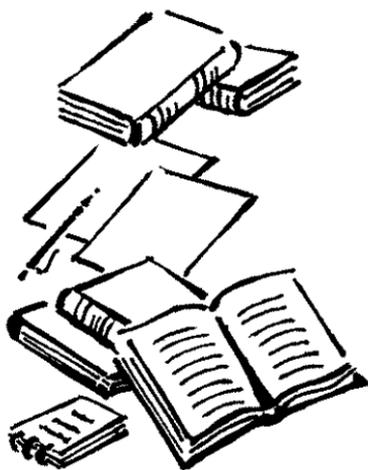
общей теории лексикографии): по разным причинам (о которых разговор особый) они могут быть свободными от обязательного грамматического следования за стоящими впереди или сзади них нарицательными существительными.

### *Литература*

1. *Ожегов С.И.* Склоняется ли Москва-река? // Вопросы культуры речи. 1995. Вып. 1.
2. *Суперанская А.В.* Что такое топонимика? М., 1985.
3. Литературная норма в лексике и фразеологии. М., 1983.

*Санкт-Петербург*





## Какого рода *alter ego*?

© М. А. БОБРИК

Сочетание *alter ego* часто используется без перевода и записывается латиницей или (в последнее время чаще) кириллицей (*альтер-эго*, *альтерэго*, *альтер эго*). В качестве русского эквивалента этого латинского выражения выступают сочетания *другое/второе я* или *другой/второй я*. Вариация согласования по роду восходит к двум разным традициям употребления субстантивированного *я*, оформившимся к началу XX века.

Предшественником русского *второй/другой я* было церковнославянское сочетание *второй аз*, которое отмечено в начале XVIII века, в частности, в книге “Апоффегмата то есть кратких, витиеватых и нравоучительных речей книги три” (1716) в качестве перевода польского *drugi ja* (< лат. *alter ego*): “Приятель добрый есть, *второй аз*” [1]. Такой (опосредованный польским) перевод вполне корректно передает грамматику и смысл латинского выражения. Близким синонимом *alter ego* выступало сочетание *alter idem* “другой такой же”. За обоими выражениями стояло представление о близком друге.

Русским эквивалентом *alter ego* в XVIII–XX веках служило прежде всего сочетание *другой я*. Согласование в мужском роде отвечало в нем латинскому образцу и поддерживалось французским *l'autre moi* (субстантивированное местоимение первого лица во французском языке мужского рода – *le moi*). Например, у В.Л. Пушкина о брате Сергее Львовиче: “Душами сходствуем: он – точно *я другой*” [2]. Такое упо-

требление можно наблюдать и в текстах более позднего времени, например, у Е. Замятина (“Мы”, 1920): “Я стал стеклянным. Я увидел – в себе, внутри. Было два меня. *Один я* – прежний, Д-503, номер Д-503, а *другой*... Раньше он только чуть высовывал свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь;<...>

Я – один. Или, вернее: наедине с *этим, другим “я”*.

Форма рода в словосочетании могла соотноситься с реальным полом говорящего (*Ты – второй я / вторая я, как Ты – второй отец / вторая мать* или *Ты – второй Пушкин / вторая Ахматова*). Ср. в переводе “Письма к амазонке” М. Цветаевой, где речь идет о женщине-двойнике, сочетание *этой другой мной*, в котором явны как склоняемость (местоименность) я, так и соотнесенность с женским полом автора: “А здесь врага нет, потому что – *еще одно я, опять я, я новая*, но спавшая *внутри меня* и разбуженная *этой другой мной*, вот *этой* предой мной, *вынесенной* за пределы меня и, наконец, *полюбленной*”. И слово-итог: “О, я! О, милая я!”.

В тех случаях, когда латинское сочетание оставлялось без перевода, определение к нему стояло, как правило, в мужском роде.: «*Этом alter ego* Белинского вспоминает “золотые годы своего детства”» [3].

Со временем, однако, в сочетании, соответствующем латинскому *alter ego*, появляется согласование в среднем роде – другое / второе я: «Внутреннее зло его является ему, как *другое ego “я”*, и терзает его» (Бердяев. Мирозерцание Достоевского).

Такое употребление сближает понятие *alter ego* с представлением о некоей внутренней сущности человека, обозначением которой служило субстантивированное я, и стало возможным на фоне утверждения в языке сочетаний типа *мое я*. Этот процесс, начавшийся под воздействием определенной традиции немецкой философии, шел на протяжении всего XIX в. Влияние немецких моделей словоупотребления играло при этом большую роль. В случае *второе я* это влияние могло идти как через модель *мое я*, так и через немецкую традицию перевода *alter ego* сочетанием (*mein*) *anderes Ich*, которое использовалось чаще, чем форма мужского рода (*mein*) *anderer Ich* [4]. Взаимодействие двух субстантивированных употреблений я наиболее вероятно прежде всего у авторов, в творчестве которых концепт “я” играл заметную роль. К числу таких авторов, безусловно, относился Бердяев, и в этом смысле приведенная цитата показательна как пример индивидуального употребления, заключающего в себе один из возможных путей развития нормы.

Вариант с согласованием в среднем роде был кодифицирован в толковом словаре под редакцией Д.Н. Ушакова (первое издание 1935–40), в котором за я впервые в русской лексикографии признается значение “сознаваемой человеком собственной сущности, самого себя в окружающем мире как личности”, “(в идеалистической философии) субъекта”. В этом духе интерпретируется здесь и *alter ego*, и среди примеров

фигурирует *мое второе "я"*, *другое "я"* (перевод латин. *alter ego*) [5]. При этом сочетание *другое / второе я* очевидным образом переосмысливается по образцу атрибутивных сочетаний с субстантивным *я* типа *мое я, внутреннее я* и под.

К настоящему времени вариант с согласованием в среднем роде прочно утвердился в современной лексикографии [6, 7]. Показательно, что вариант *другое я / второе я* представлен в наиболее полном латинско-русском словаре А.Х. Дворецкого (первое издание 1949). Под *alter* в значении "равный, такой же, сходный" здесь приводится выражение *alter ego* или *alter idem*, которое переводится как *второе я* (ближайший друг) [8].

В современном русском употреблении вариант *другое/второе я* стал основным. Приведу несколько произвольно выбранных контекстов: "*Второе Я*" (Название фильма Нины Шориной. 1989); "Кажется, и героев-то эссе и меморий он избирает вовсе не для похвального слова, а для подтверждения все той же не дающей покоя, все становящейся теорией, которая растет в нем как живое тело, как *другое "я"*, неустанно ищущее реализации" (В. Курбатов. Дорога в объезд); "Близкий друг, как любили повторять древние, – это *второе "я"*" (Н.В. Брагинская. Елена Лившиц – Ольга Фрейденберг, или Травестия близнечного мифа // Новое литературное обозрение. 1994); «Но и не зная ничего о самом Соллерсе, легко почувствовать, что портрет Казановы нужен автору лишь как косвенный автопортрет, что мы должны воспринимать Казанову как "*второе я*" Соллерса – такого же свободного и жизнерадостного одиночки» (Г. Дашевский. Корыстный посредник).

В этом же ряду – фраза из интервью актрисы театра им. Е. Вахтангова Юлии Рутберг, где она говорит, что "должна играть *альтер эго*, то есть *другое "я"*, время, совесть". Отмечу, что *alter ego* дано в транслитерации. Такое написание было возможно и раньше (например, название фильма Юрия Мамина "Альтер эго", 1980 г.), но встретить его можно было существенно реже, чем переводной эквивалент. В последние годы, напротив, предпочтение часто отдается транслитерации *альтер-эго* (графические варианты: *альтер эго*, *альтерэго*). Стилистический статус и частотность еще недавно ученого слова при этом стремительно меняются. Теперь название "Альтер эго" вошло в быт – его носят салоны красоты, парикмахерские, косметические центры, рестораны, рекламные агентства и пр. Иностранного шикю этому словосочетанию парадоксальным образом придает именно кириллица, одновременно избавляя его от груза философско-ученых смыслов.

Подвергшись как бы обратному переводу на латынь, сочетание *другое / второе я* передает новому варианту свое грамматическое устройство. Так появляются сочетания *мое альтер-эго*, *твое альтер-эго*, *криминальное альтерэго*, *безликое альтер эго* и под.

Что касается варианта *другой / второй я*, то он стал чрезвычайной редкостью. В текстах последнего времени скорее встретится непере-

водной вариант с согласованием в мужском роде *мой альтер-эго*. Различение рода при согласовании позволяет, на наш взгляд, более отчетливо оформить разные значения субстантивного *я*. Однако современный узус склонен пренебрегать этой возможностью и отдает предпочтение модели согласования неизменяемых *я* и *альтер-эго* в среднем роде.

### Литература

1. Словарь русского языка XVIII в. Л., 1984. Вып. 1.
2. Вяземский П.А. Записные книжки. М., 1963.
3. Белинский В.Г. Собр. соч. под ред. Иванова-Разумника. СПб., 1911.
4. DW – Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Nachdruck. München, 1984.
5. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. IV. М., 1940.
6. Бабкин А.М., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов. М., 1981.
7. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992.
8. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 1976.

В статье использованы материалы Национального корпуса русского языка ([www.ruscorgora.ru](http://www.ruscorgora.ru)) и Интернета.

## Язык прессы

## Всё на продажу?

## Рыночные отношения в зеркале языка СМИ

© Э. Д. ГОЛОВИНА,  
кандидат филологических наук

На путях к рыночной экономике нам, видимо, остро не хватает выразительных и разнообразных “базарных” слов. В поисках таковых народ-языкотворец расширяет традиционный лексикон, изобретая неологизмы, употребляя жаргонизмы, а также наделяя существующие языковые единицы значениями, которые не были им свойственны ранее. В результате речь многих наших современников, в том числе профессионально работающих со словом, изобилует некодифицированными словоупотреблениями, любопытными в плане становления потенциальных лексических норм.

Именно с началом продвижения общества к рыночным отношениям “всё смешалось” в словообразовательном гнезде с корнем “куп-”. За последние 10–15 лет ясный и недвусмысленный глагол *купить* оброс в речевом обиходе мнимыми и в то же время весьма агрессивными эквивалентами.

Так, на газетных страницах он с пугающей частотой замещается однокоренным глаголом *закупить* (купить в большом количестве или оптом: *закупить дров на зиму*): “Упал Дед Мороз, новинка сезона, которого только нынче *закупили*, чтобы поставить под главной елкой” (АиФ-Вятка. 2007. № 52); “Я страшная поклонница Мадонны и была поражена, когда услышала, что *закупили* ее фильм и она сама приедет в Россию” (АиФ. 1992. № 10); “Глория привезла домой традиционную матрешку. Теперь *закупила* часы с изображением собора Василия Блаженного” (МК. 1999. № 201); “Уже *закуплено* ландо для прогулок гостей” (Общая газета. 1995. № 47).

Таковы же в современной речевой практике и взаимоотношения глаголов несовершенного вида *покупать* и *закупать*: “Все сценарии приходится где-то *закупать*” (Нагорская жизнь. 1994. № 88); «Иностранные телекомпании стали *закупать* наш “продукт”» (Вятский край. 2000. № 37).

Кроме того, в языке СМИ зафиксированы не отмеченные в данном значении нормативными словарями возвратные глаголы *закупиться* и *закупаться*: “*Закупиться* за границей мало – покупки еще нужно ввез-

ти в страну” (Комс. правда. Киров. 2008. 24–31 июля); “Прогулявшись по промозглой весенней Москве и *закупившись* всем необходимым для приятного времяпрепровождения сотрудников автосалона, я засел в раздевалке” (Комс. правда. 2008. 23 мая); “Если собрались *закупаться* по-крупному, то сможете себе компенсировать стоимость тура” (Комс. правда. Киров. 2008. 24–31 июля).

С началом тысячелетия невиданную активность приобрел глагол *прикупить*. Его истинное значение – “купить дополнительно”, например: *прикупить к свадьбе столовой посуды*. Издавна употребляется он в обиходе карточных игроков. Может быть, победное шествие лексемы *прикупить* связано с настойчиво насаждаемой у нас модой на азартные игры? Так или иначе, но не *покупают*, а именно *прикупают* у нас буквально всё.

“Прикупают” одежду и обувь: «Один из депутатов решил не мудрствовать и *прикупил* костюмчик самой модной в среде политиков марки “Бриони” за пять тысяч баксов» (Комс. правда. 2004. 30 апр.); “Но в целом одеваются политики у нас не ахти. Они умудряются даже откутюр *прикупить* баракло” (Собеседник. 2008. № 19); “Я бы шубку *прикупила*, но кредит не получила” (Комс. правда. Киров. 2008. 15 окт.); “Старайтесь побольше ходить босиком по песку и траве. А для дома *прикупите* массажные тапочки” (АиФ. Здоровье. 2007. № 34).

“Прикупают” продукты и лекарства: “Пойдешь сейчас картошечки *прикупить* – вся сплошь польская, израильская, кипрская, даже египетская с марокканской” (АиФ. 2008. № 17); «*Прикупив* вечером в аптеке свой излюбленный напиток – пузырек “Боярышника”, житель Кирова уже было направился к себе домой» (МК на Вятке. 2007. 14–21 нояб.).

“Прикупают” предметы роскоши и сувениры на любой вкус: “Закрылся ювелирный магазин, где можно было *прикупить* и золото, и бриллианты” (Комс. правда. 2008. 10 окт.); “Один американский господин *прикупил* коробочку очень дорогих и редких сигар” (Витражи. 2004. № 21).

“Прикупают” турпутевки и аппаратуру: “*Прикупите* путевку на двоих в кругосветное путешествие” (Комс. правда. 2002. 14 сент.); “Здесь мне оборудование *прикупили*. Я считаю, что аппаратура у нас неплохая (Источник новостей. 2008. 2 сент.). Но особенно часто, судя по газетной информации, во всем мире и в России “прикупают” недвижимость (даже если речь о бюджетной интеллигенции, которой прикупать что-либо просто-напросто не к чему): “Идеальное место для заслуженного отдыха. Мик Джаггер не зря тут себе дом *прикупил*” (Комс. правда. 2002. 17 мая); “Девять лет назад семья московского научного работника Нины Ивановны *прикупила* часть дома” (МК. 1994. 28 мая).

Но на этом печальная для ревнителей родного языка история со словом *купить*, неправомерно теснимым однокоренными глаголами *закупить* и *прикупить*, видимо, не закончится. В конкурентную борьбу, по-

хоже, может вступить и глагол *выкупить*, хотя, в отличие от своего бесприставочного родственника в норме он обозначает следующее: “заплатив деньги, получить обратно заложенное (например: *выкупить в ломбарде кольцо*)”. Однако языковые нормы не помешали журналисту в столичном издании написать: “На такой эксклюзив от таксидермической студии “Бронзовый медведь” быстро нашлись покупатели... Дорогое чучело *выкупил* бывший советник Грызлова” (Собеседник. 2008. № 1).

В поисках свежего, эмоционального слова никому, тем более людям творческим, не возбраняется дерзать, новаторски экспериментировать в стремлении завоевать внимание собеседника. Однако и сегодня замена одного слова другим, внешне похожим, но отнюдь не тождественным по смыслу, не может быть квалифицирована иначе, чем лексическая ошибка, типичная как для устной, так и для письменной речи. В материалах центральных и региональных СМИ конца прошлого – начала нынешнего века нами зафиксировано более тысячи подобных смещений: *адресант – адресат, апеллировать – оперировать, бойцовский – бойцовый, ванна – ванная, вдохнуть – вздохнуть, вибрион – эмбрион, воинственный – воинствующий, встать – стать, выказывать – высказывать, главный – заглавный, инцидент – прецедент, карт – картинг, компетентность – компетенция, неллицеприятный – неприятный, сватья – сваха, снискать – сыскать, эффективный – эффект-ный* и т.д. В свете действующих литературных норм к данному виду лексических ошибок следует отнести и описанные замены глагола *купить* приставочными производными типа *прикупить, закупить, закупиться, выкупить* в языковой практике современных российских СМИ.

## Язык рекламы



## О туристическом рекламном тексте

© Е. Н. УСТИМЕНКО-КАХЛАУИ

В безбрежном пространстве рекламирования всевозможных товаров и услуг заметное место занимает туристическая реклама. Этому способствуют, по крайней мере, две причины. Одна из них – активное развитие российского выездного туризма и, следовательно, формирование умения россиян “вычитывать” информацию из туристической рекламы. Вторая – потенциальная активизация въездного туризма в Россию и, значит, развитие умения соответствующих российских специалистов профессионально “вписывать” в российскую туристическую рекламу стимулирующую информацию.

Очевидно, что рекламный текст любой направленности, в том числе и туристический, взывает прежде всего к чувствам потребителя, оказывая тем самым эмоциональное воздействие на него.

Как и любой рекламный текст, туристическая реклама строится по определенной структуре: слоган; заголовок; основной текст; эхо-фраза [1]. К этому перечню Ю.С. Бернадская добавляет еще один пункт – ре-

кламные реквизиты [2]. На слоган, заголовок и эхо-фразу ложится нагрузка по привлечению внимания к рекламируемому объекту, созданию ассоциаций у потребителей по отношению к нему, тогда как в основном тексте содержится аргументация, строящаяся по различным коммуникативным моделям.

*Слоган* представляет собой краткое, эмоционально заряженное изречение с максимальным смыслом и минимумом слов, например: “Тунис – оазис Средиземного моря”; “Мальта: больше, чем видно глазу”.

Эффективность *слогана* зависит от таких факторов, как запоминаемость и информативность.

По способу изложения информации выделяют *абстрактные* и *конкретные* слоганы. *Абстрактные* – включают такие фразы, которые имеют отдаленное отношение к объекту и не отражают конкретных его признаков. Создание таких слоганов основано на свободном присоединении к ним имени бренда, что обусловлено их большой свободой и отвлеченностью: “Библио-Глобус. С нами надежно и легко!” (Туризм и отдых. 2006. Август).

К *конкретным* слоганам относят фразы, которые несут информацию о товаре или услуге, об их достоинствах, назначении, характеристиках, а также выгодах для потребителя: “Coral Travel. Люби себя – отдыхай с Coral” (Туризм и отдых. 2008. Июнь).

Некоторые ученые предлагают включить в эту классификацию *товарный* слоган, задачей которого является показ преимуществ данного объекта перед другими, что позволит создать определенное эмоциональное отношение потребителя к объекту: “Blue Sky. Отдых в любой точке мира с Blue Sky всего в двух шагах...” (Туризм и отдых. 2008. Апрель). Очень часто имя слогана вводится в товарный слоган [3]. *Корпоративный (имиджевый)* слоган направлен на повышение узнаваемости конкретной туристической компании, на какую-либо особенность в ее функционировании. В зависимости от того, какой стимул лежит в основе корпоративного слогана, может варьироваться и его содержание. Объект рекламы в данных слоганах во многом нематериален. Потребителю обещают не конкретную, практическую пользу, а ощущение, мечту, идеал [2]. Корпоративные слоганы содержат больше абстрактной лексики: *красота, любовь, очарование* и др.: “Фантастический мир сказки на курорте Гоа!” (Тонкости продаж. 2006–2007. Зима); “ОАЭ: отдых, о котором мечтают” (Там же); “Отдых на Кубе – море удовольствий” (Горячие туры. 2007. № 10).

Вторым важным моментом в рекламе является *заголовок*. Как правило, заголовок “расшифровывает” слоган и является важной частью туристического рекламного текста. В нем отражается основное *рекламное обращение* и главный аргумент, по которому читатели судят, читать им рекламный текст или нет. Заголовок должен апеллировать к интересам людей, их потребностям и эмоциям.

Рекламный заголовок должен отвечать различным информационным и психологическим требованиям. Чаще всего в качестве главного выделяют требование краткости. Один из наиболее известных составителей текстов А. Кромптон пишет, что каждый копирайтер должен “помнить одно золотое правило: не следует использовать двух слов там, где достаточно одного” [4]. Необходимо употреблять короткие выразительные слова, не пропуская в то же время ни одной смысловой детали, которая даст ясное представление о рекламируемом объекте, т.е. максимум информации при минимуме слов. Так что составители рекламных текстов вынуждены балансировать между двумя условиями: у адресата не должно остаться вопросов, и в то же время нельзя перегружать текст лишней информацией. Это связано с тем, что потребители часто ограничиваются прочтением только заголовка, поэтому в него стараются вложить максимум сведений.

При этом нельзя забывать, что главная функция заголовка – привлечь внимание аудитории, возбудить интерес. Заголовок должен побудить читателя ознакомиться с текстом, чтобы он смог получить больше информации о туристическом продукте, его уникальности, новизне, а также доступности. Именно в заголовке необходимо заложить мотивы выгоды клиента. Таким образом, заголовок – это конденсированное сообщение. Ю.С. Бернадская обоснованно предлагает объединять заголовки в две большие группы – *прямого* и *косвенного действия* [2]. Заголовки *прямого действия* имеют информативный характер. Такие заголовки непосредственно направлены на целевую аудиторию, где представляют преимущества туристического продукта. Они могут содержать сообщение о новинке: “Талассотерапия в Тунисе. Тунис в межсезонье. Экзотика и удовольствие” (Мир Аэрофлота. 2005. Август); утверждение (в том числе обещание): “Тунис: безоблачное небо гарантируется! Золотые изюминки Туниса” (ТСО. Самара. 2006. № 229); команду, призыв: “В Тунис за здоровьем!” (Мир Аэрофлота. 2005. Сентябрь).

Для составления туристического рекламного заголовка можно использовать преимущества, которые дает подход с *морфологической* точки зрения. К важнейшим морфологическим характеристикам заголовка можно отнести использование *глаголов* и *глагольных форм*: “Отдыхайте с удовольствием!” (Туризм и отдых. 2006. Декабрь. 2006); “Отдыхать с Зевсом – это здорово” (Туризм и отдых. 2007. Июль); “Выбери свое место под солнцем” (Горячие туры. 2007. № 10). Зачастую, туристические рекламные заголовки состоят из одного, двух глаголов. И такой рекламный текст становится более динамичным. *Сравнительной* и *превосходной степени качественных прилагательных* и *местоимений*: “Сказочный Карфаген ждет в гости” (Тонкости продаж. 2006–2007. Зима); “Лучший семейный отдых от 999” (Туризм и отдых. 2007. Июль). Но частое использование таких прилагательных, как *лучший*,

превосходный и т.д. может вызвать у потребителя естественное недоверие. Использование личных местоимений в заголовках помогает превратить рекламное сообщение в личностное: “Тунис для Вас и вашей семьи” (Туризм. 2008. № 3).

Необходимо также иметь в виду, что при выборе синтаксической структуры рекламного заголовка целесообразно обращать внимание на следующие правила: использовать в качестве подлежащего название туристической услуги или фирмы, которое ставится в начало предложения: “Талассотерапия в Тунисе” (Турифо. 2008. Март); “*Prima* это надежно” (Турбизнес. 2007. № 11). Это целесообразно также по законам речевого воздействия: важная информация чаще всего находится или в начале, или в конце текста.

В основном рекламном тексте, называемом также информационным блоком, развивается аргументация в пользу адресанта. Цель информативного блока – сформировать желание клиента, убедить и подвигнуть его на совершение нужного адресанту действия. Изменить точку зрения потенциального клиента в свою пользу с помощью аргументов, которые подразделяются в теории рекламного текста на рациональные и эмоциональные. Как правило, в информационном блоке применяется хотя бы один *рациональный аргумент* – так называемый *аргумент от факта*. В рекламном обращении аргумент от факта может звучать как *скидки* (в процентах), *новые туристические услуги* и т.д.: “Уникальная возможность отдохнуть в Египте и ОАЭ! Вы платите только за номер в отеле, а мы дарим вам авиабилет!; Проведи 23 февраля и 8 марта в Египте – получи в подарок романтическую прогулку на яхте” (Туризм и отдых. 2008. Февраль). Группа эмоциональных аргументов более многочисленна: обращаться к чувствам человека легче, чем апеллировать к его разуму. К данной группе аргументов относятся:

а) *аргумент от обещания*: “Тунис – всего в четырех часах от Вас. Ласковое средиземноморское солнце, роскошь песчаных пляжей Африки, волшебство талассотерапии, очарование древних храмов, безмятежная красота Сахары и сервис европейского качества” (Вояж и отдых. 2007. Лето);

б) *аргумент от чужого авторитета*: “Лондон – город контрастов. Именно так, перефразировав реплику героини небызвестного фильма, можно выразить мое личное отношение к столице Великобритании. Чопорный и дружелюбный, дорогой и нищий, пленительный и уродливый. И все-таки такой притягательный” (Туризм и отдых. 2008. Апрель);

в) *аргумент от личного опыта*: “... сегодня лидер по освоению горнолыжных трасс – Красная Поляна Краснодарского края, поэтому я предпочитаю кататься именно там, чем в Куршевеле, поверьте! – говорит российский пианист Денис Мацуев” (Туристический олимп. 2007. Июнь).

Рекламное обращение может завершать *эхо-фраза*, дословно или по смыслу повторяющая слоган или основную мысль основного рекламного текста. Именно эхо-фраза способна увеличить эффективность рекламного туристического сообщения в целом. В качестве эхо-фразы может выступать: имя бренда: *Pegas Touristik*; имя бренда и слоган: *На крыльях Пегаса навстречу мечте*; имя бренда и выражение, созданное специально для данной рекламы: *От Туниса до Багам приглашает АЛАТАН*.

Итак, наш анализ показал, что структура и прагматика туристического рекламного текста способствуют созданию привлекательного образа страны посещения, а также оказывают социально-культурное и психологическое воздействие принимающей стороны на общество в широком смысле слова.

### Литература

1. *Кафтанжиев Х.* Тексты печатной рекламы. М., 1995.
2. *Бернадская Ю.С.* Текст в рекламе. М., 2008.
3. *Морозова И.* Слагая слоганы. М., 1998.
4. *Кромтон А.* Мастерская рекламного текста. М., 1998.





## О трех смыслах в агиографии

© О. В. ГЛАДКОВА,  
кандидат филологических наук

С литературоведческой точки зрения, житие – эпический жанр церковной книжности, объектом изображения которого является подвиг веры, совершаемый конкретным историческим лицом или группой лиц (мучеников веры, церковных или государственных деятелей и т.д.) *во след Христу* или (вариант женской святости) *Богоматери* во имя *Спасения*, то есть вечной жизни на Небесах. Основная задача жития – назидательная: жизнь и подвиги святого, совершаемые им в подражание Христу (или другим “персонажам” Нового Завета), в свою очередь, также рассматриваются как пример для подражания, как образец христианского поведения, а страдания и испытания святого – как знак его божественной избранности.

В структуре житий, особенно ранних, отражается представление о трех уровнях смысла, о триадности текста, которое было разработано неоплатониками в III–VI веках и получило дальнейшее развитие у христианских авторов прежде всего при истолковании текстов Священного Писания. Основатель александрийской школы христианского богословия Ориген (III в.) писал в своем трактате “О началах”: “...простой верующий должен назидаться как бы плотью Писания (так мы называем наиболее доступный смысл); сколько-нибудь совершенный (должен назидаться) как бы душою его; а еще более совершенный ... должен назидаться духовным законом, содержащим в себе тень будущих благ. Ибо как человек состоит из тела, души и духа, точно так же и Писание, данное Богом для спасения людей, состоит из тела, души и духа” [1]. Изучение толковательного метода Оригена и его последователей породило целое направление в богословии, философии и филологии.

Таким образом, согласно представлению о триадности, текст мог восприниматься *непосредственно* (буквально, “плотски”, поверхностно-событийно), а также *эмоционально* (душевно, как назидательный пример) – и *мистически* – “духовными очима”, как говорили в Древней Руси [2], в этом случае посвященному читателю в символическом под-

тексте открывался сакральный мир аналогий, связанный с тайной Боговоплощения Христа.

Представление о триадности текста, разработанное неоплатониками, получило дальнейшее развитие, с одной стороны, у христианских авторов прежде всего при истолковании текстов Священного Писания, с другой стороны, в поэтике эллинистического романа, оказавшего сильнейшее влияние на агиографию [3].

Известный пример символического подхода находим у древнерусского писателя митрополита Климента Смолятича (XII в.), комментирующего притчу из Евангелия: “Человек схожааше от Иерусалима на Ерихон и в разбойники впаде, и съвлекъше и, язви возложиша на нь. Едем убо Иерусалим сказаеться, Иерихон же мир, человек же исходяй Адам, разбойници же беси, прелщением бо тех боготканья одежда обнажиси, раны же глаголет грехы” [4]. Далее Климент Смолятич приводит в качестве обоснования необходимости притч и их толкования слова Христа: “Вам [ученикам и апостолам. – *О.Г.*] есть дано ведати тайны Царствия, а прочим в притчах”. О двух формах познания, отразившихся в древнерусской литературе, писал Н.И. Прокофьев: «Высшие силы сами по себе ... не постигаются житейским опытом, “телесными очима”. Высшие силы познаются лишь “духовными очима”, как об этом не раз говорится в памятниках древней письменности, начиная с “Изборника 1076 года”. Иосиф Волоцкий в этой связи пишет: Дамаскин глаголет: “Святая единосущная троица телесными очима не зрима» [2].

О необходимости учитывать символическую природу древнерусских литературы, живописи, культуры в целом говорили многие ученые – Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский, А.Н. Робинсон, Н.И. Прокофьев, В.В. Кусков, С.С. Аверинцев, В.В. Бычков, В.М. Кириллин, А.Н. Ужанков и др. Однако даже тем исследователям, которые признавали и признают символизм в древнерусской литературе, нелегко преодолеть в себе читателя, воспитанного на литературе Нового времени, то есть на литературе преимущественно реалистической и несакральной. Взгляд же на средневековое житие как на произведение реалистическое практически “убивает” его, в этом случае в житии, как правило, традиционно оцениваются занимательность сюжета и фабулы (обычно в житии присутствует интересный событийный ряд), “начатки” психологизма и достоверность исторического материала. Реже обращается внимание на отдельные символические детали и стилистические особенности, а также общий назидательный смысл. Все богатство символического подтекста, вся палитра разнообразнейших средств, с помощью которых он создается, остаются вне внимания. В последнее время ситуация стала несколько меняться – с появлением работ, основывающихся на анализе конкретных произведений, а также с увеличением изданий, учитывающих акцентные знаки, орфографию, пунктуацию и весь “рисунок текста” рукописи, помогающие понять авторский замысел [5].

Однако нужно учитывать и то, что многоуровневость в разных агиографических текстах имеет различную степень. Порой очень сложно отличить “прямое”, “однослойное” повествование от символического, а также найти ту символическую аналогию, на которой строится весь житийный текст, или отдельные образы, сюжет, тем более если она не называлась, а выражалась через целую систему тайных знаков – к примеру, через определенное количество глагольных форм в эпизоде, повторы ключевых слов, упоминание определенных чисел (*тройка* могла символизировать Святую Троицу, *четверка* – Небесный Иерусалим и т.д.).

Представляется, что символический подтекст не всегда в полном объеме видели и древнерусские переписчики и читатели, он мог потеряться из-за изменений в тексте, неизбежно возникавших за столетия переписывания: например, в редакции Жития Евстафия Плакиды из знаменитого Сильвестровского сборника второй половины XIV века [6] много ошибок, неточностей и сокращений. Так, редактор счел возможным изъять эпизод узнавания воинами Антиохом и Акакием своего бывшего военачальника. Действительно, на первый взгляд, этот эпизод кажется несколько затянутым и не столь динамичным, как все повествование в целом, – воины то узнают, то не узнают Плакиду, а он то покидает своих гостей, то возвращается, плачет и т.д. Но с изъятием названного эпизода уходят из текста важные символические прообразы, например – золото как символ царской власти и божественной природы Христа. Воины предлагали Евстафию золото, чтобы он сказал, не знает ли он того, кого они ищут. Вероятный символический подтекст здесь – это прообраз Плакиды – Христос, воины – волхвы, принесшие золото. Золото – знак грядущего “вознесения” Плакиды – к вершинам мирской славы, а затем – к мученическому венцу. Служение воинам “ученикам” как символ Евхаристии и т.д. [7].

Таким образом менялся символический подтекст, третий смысл произведения. Приведем еще один пример из Сильвестровского сборника. В важнейшем эпизоде явления оленя, в исправном тексте Жития [8] слово *образ* употреблено пять раз: “въсхоте сего сп(ас)ти *сищем образом*”; “*которым образом* уловил//бы е(го)”; “показа ему / б(о)г чюдо *сищем образом*”; “на(д) рогама же еленема *образы с(вя)т(о)го / кр(ес)та*”; “посреде же / рогу *образ с(вя)тааго тела Х(ристо)ва*”.

Основной мистический смысл, передаваемый через число *пять* здесь – спасение человека в Церкви. Число *пять*, как известно, символизировало Церковь. Число *один* символизировало Христа, число *четыре* – четырех евангелистов, в совокупности (5) получалось – Церковь. Эта числовая символика последовательно соблюдалась при строительстве пятикупольных храмов, где, как известно, главный купол символизировал Христа, остальные четыре – евангелистов. В Сильвестровском сборнике в результате порчи текста, видимо, еще в прото-

графе, а также сокращения его самим редактором знаменитой рукописи, пятый раз слово *образ* не появляется. Выражаемый через число *пять* “образ святого Тела Христова”-Церкви уходит, но, возможно, его замещает теперь “Образ Святого Креста” и его символ – число *четыре*? Или же остающийся образ “Тела Христова” и так понятен, по мнению редактора; и символическое его истолкование как Церкви не требует дополнительного подтверждения через число *пять*? Во всяком случае, изменение в редакции Сильвестровского сборника ведет к упрощению структуры текста, к разрушению символических конструкций. Безусловно, все эти сокровенные способы создания высшего, третьего уровня смысла требуют дальнейшего изучения.

Зависимость от образцов приводит к неизбежному образованию в агиографии топосов (общих мест), кочующих из одного жития в другое. Отбор топосов в той или иной степени соотносится с типом святости и типом аскезы, избранной святым, с характером его подвига или подвигов. Тип святости определяется местом святого в иерархии святости: *великомученик, преподобный, юродивый* и т.д. Тип аскезы – выбираемый святым подвиг ради спасения души, ради «благодатного всестороннего “освящения”» [9].

Топосы сами по себе не обедняли агиографию: как и в любом творчестве, все зависело от таланта автора. Топосы в агиографии также могли быть многослойными или же ограничиваться каким-то одним или двумя смыслами. Например, образцом женской святости прежде всего была Богоматерь, но как показать, что в высшем, мистическом, смысле прообраз святой – мать Христа? Это топос, который агиографы решали по-разному. Автор Синайского патерика или Ермолай-Еразм, автор Повести о Петре и Февронии, показывали своих “героинь”, занимающихся фактически, как и Богоматерь, ткацким делом (изображение на иконах Богоматери с веретеном в руках, красная нить – символ жизни Христа) [10]. Ермолай-Еразм, помимо этого, рассказывал о Февронии, в руках которой хлеб (крошки хлеба) превращался в ладан и фимиам. И хлеб, и двоица “ладан и фимиам” – все является символом Христа. Второй, то есть назидательный, смысл в этих примерах (кроме примера с ткущей Февронией) – преодоление искушения. В одном случае искушение преодолевает юноша с помощью монахини: он уходит в монастырь, увидев, что монахиня выколола себе глаза, соблазнившие его; в другом – Петр, который убеждается в том, что его жене открыто гораздо больше, чем ему самому.

Еще один пример. Мать митрополита Петра, первого московского святого, незадолго до его рождения видит сон – на ее руке появляется “агнец доброзрачен” [11], на рогах которого древо с цветами и горящими свечами. Агнец одновременно символизирует и Христа, и будущего митрополита, подобного Христу, древо – крест, горящие свечи – будущее служение ее сына. Иными словами, мать митрополита Петра пред-

стает в образе (точнее было бы сказать: в прообразе) Богоматери с Христом на руках. В последнем случае соблюдается топос и на событийно-назидательном первом и втором уровнях смысла: родители Петра – благочестивые люди, его мать удостаивается видения; и на третьем уровне – прообраз его матери – сама Богородица.

Как правило, повествование в житии ведется от имени автора либо близко знавшего святого, либо знакомого с очевидцами событий, либо специально собиравшего сведения о святом. Автор, в соответствии с требованиями жанра, подчеркивал чаще всего во вступлении свои недостатки и неразумность, но оправдывал свой труд тем, что “аще ли не написана будут памяти рад, то изыдет ис памяти” [12. С. 181]. Перед агиографом стояла непростая задача – нужно было понять и изложить события, имена участников которых уже были “написана сут на н(е)б(е)сех” [Там же], поэтому за составление житий могли брать только очень образованные и опытные в духовном плане люди. В реальном течении событий, в рассказах очевидцев или сохранившихся преданиях о святом агиограф должен был увидеть “идеальную правду” [13] и выразить ее на нескольких уровнях, причем третий уровень, символический подтекст, должен был проявляться как через выражение, так и через изображение. Все могло “заиграть” под пером писателя, а иногда и переписчика, – буква, слово, синтаксическая конструкция, ритм, рифма, какие-то дополнительные знаки (один из наиболее часто встречающихся – *крест* – над словом, *крест-буква* и т.д.), сочетание перечисленных элементов в разных конфигурациях; деталь, мотив, образ и т.д.

При анализе жития, конечно, можно ограничиться первым смыслом или двумя первыми смыслами, труднее всего проникнуть к третьей ступени. Агиограф ничего специально не “объяснял”. Толкования можно было найти в трудах Отцов Церкви, в Палее, в вопросо-ответной литературе, в богослужебных текстах и т.д. Недаром, при традиции переписывания названных произведений в их полном варианте, древнерусские рукописные сборники буквально пестрят выписками из них – примерами толкования одного какого-либо образа, символа, числа и т.д.

Допускалось также наличие четвертой ступени смысла [14. С. 269–280], так, Иоанн Кассиан (кон. IV – нач. V в.) истолковывал образ Иерусалима: “...в историческом смысле это град иудейский, в аллегорическом смысле – Церковь Христова, в аналогическом смысле – оный небесный град Божий, который есть мать всем нам, в тропологическом смысле – душа человеческая, которая часто под этим именем порицаема или хвалима бывает Господом” [Там же. С. 277]. О четырех смыслах Писания говорил и Блаженный Августин (кон. IV – нач. V в.) [Там же. С. 279]. Следует принимать во внимание, что трактовка “смыслов” и их соотношения претерпевала различные модификации в трудах разных богословов [Там же. С. 279–280]. По-разному, вероятно, подходили к этому вопросу и русские агиографы. Изучение агиографии с учетом ее

символического подтекста представляется нам необычайно перспективным.

### Литература

1. *Ориген*. О началах. Самара, 1993. С. 263–264.
2. *Прокофьев Н.И.* О мировоззрении русского средневековья и системе жанров русской литературы XI–XVI вв. С. 12.
3. *Протопопова И.А.* Ксенофонт Эфесский и поэтика иносказания. М., 2001. С. 273–390.
4. Послание Клементя Смолятича // ПЛДР: XII век. М., 1980. С. 286.
5. *Кусков В.В., Прокофьев Н.И.* Критические раздумья о современных научных изданиях памятников древнерусской литературы // Вестник Московского университета. Сер. Филология. М., 1993. № 5. С. 35–37.
6. РГАДА, ф. 381, № 1(53). Лл. 56–64 об.
7. *Гладкова О.В.* Житие Евстафия Плакиды: особенности идейно-художественной структуры // Литература Древней Руси. М., 2004. С. 33–34.
8. *Гладкова О.В.* Охотник, олень и гора // Русская речь. 2007. № 6.
9. *Зарин С.М.* Аскетизм по православно-христианскому учению. М., 1996. С. 593.
10. Синайский патерик. Изд. подг. *Гольишенко В.С., Дубровина В.Ф.* М., 1967. С. 114–116; Повесть о Петре и Февронии. Подгот. Текстов и исследование *Дмитриевой Р.П.* Л., 1979. С. 214.
11. *Клосс Б.М.* Очерки по истории русской агиографии XIV–XVI веков // Избранные труды. М., 2001. Т. II. С. 28, 36.
12. *Гладкова О.В.* Древнерусский святой, пришедший с Запада (о малоизученном Житии Исидора Твердислова Ростовского) // Древнерусская литература: тема Запада в XII–XV вв. и повествовательное творчество. М., 2002. С. 181.
13. *Бицилли П.М.* Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996. С. 174.
14. *Нестерова О.Е.* ALLEGORIA PRO TIPOLOGIA. Ориген и судьба иносказательных методов интерпретации Священного Писания в раннепатристическую эпоху. М., 2006.



*“Облеются квасомъ уснинымъ ...”*

### О популярности русской бани

© Т.А. ИСАЧЕНКО

Летописное сказание о посещении новгородских земель апостолом Андреем сохранило редкое свидетельство о популярности русских бань и способах восстановления сил, в старину именовавшихся *банным хождением*, под которым подразумевалось не только собственно омовение, но и ряд процедур, сопровождавших его.

В “Повести временных лет” о странствии апостола Андрея Первозванного по русской земле говорится: «Онѣдрю учашю в Синонии и пришедшу ему в Корсунь, увиде, яко ис Корсуни близь устье Днепрское, [и] въсхоте пойти в Рим и пройде в вустье Днепрское, [и] оттоле поиде по Днепру горе. И по приключаю приде и ста под горами на бе-

резе. [И] заутра въстав и рече к сущим с ним учеником: “Видите ли горы сия? – яко на сих горах восияет благодать Божья; имать град велик быти и церкви многи Бог въздвигнути имать”. [И] въшед на горы сия, благослови я, [и] постави крест, и помоливъся Богу, и сълез с горы сея, идеже послеже бысть Киев, и поиде по Днепру горе. И приде в Словени, идеже ныне Новъгород, и виде ту люди сушая, како есть обычай им, [и] како ся мьноть и хвоцються, и удивися им. И иде в Варяги, и приде в Рим, и исповеда, елико научи и елико виде, и рече им: “Дивно видех Словеньскую землю. Идучи ми семо, видех бани древены, и пережьгут е рамяно, и совлокуться, и будутъ нази, и облекуться квасом усняным, и возмут на ся прутье младое, и бьют ся сами, и того ся добыют, едва влезут ле живи, и облекуться водою студеною, и тако ожиут. И то творят по вся дни, не мучими никимже, но сами ся мучат, и то творят мовеньные собе, а не мученье”. То слышаще дивляхуся» [1. Курсив наш. – Т.И.].

Летописное свидетельство об усняном квасе, которым облекуться новгородцы, стало загадкой для переводчиков. В популярную серию “Памятников литературы Древней Руси”, издававшуюся ИРЛИ (Пушкинский Дом) с 1976 по 1994 годы, эпизод вошел в состав “Повести временных лет”, а современный переводчик, опираясь на данные исторических словарей, перевел слово усняный как “кожевенный” (от усния, “кожа”). Так и закрепилось за переводом выражения усняный квас значение “кожевенный”, войдя в серию “Библиотеки литературы Древней Руси”, основанную на “Памятниках” (издается ИРЛИ с 1997 г.).

Если учесть номенклатуру названий, представленную в Травнике, фигурирующем как “Травник Любчанина 1534 года” в Картотеке Древнерусского Словаря, то можно предположить, что квас усняный происходит от латинского *Nusqiamus* – белена.

Но, на наш взгляд, вероятнее предположить, что это был обычный щелок, что находит подтверждение в словаре Г. Дьяченко: “навар из кислой травы, которым мылись в бане для очищения кожи” [2].

### Литература

1. Полное собрание русских летописей. М., 1962. Т. 1.
2. Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М., 1993.



## Проста мова

© Е. А. СМЕРНОВА

*Проста мова* в старых памятниках обыкновенно называется “языком русским” [1. С. 1]. В Великом княжестве Литовском XVI–XVII веков это был письменный язык, в основу которого предположительно легли диалекты западнорусского народа, проживавшего на его территории. Изучение и описание этого языка началось еще в конце XIX века такими исследователями, как П.И. Житецкий, М.В. Довнар-Запольский, Е.Ф. Карский и др. При этом, как отмечает в своей статье М. Гардзанини, до нашего времени “отсутствует какое-либо системное описание самого языка и его релевантных характеристик, прежде всего в сопоставлении с польским и с церковнославянским того периода” [2. С. 169].

По утверждению А.В. Карташева, Литва в XVI веке сознавала себя русским княжеством. В этот период Литовское Великое княжество состояло частично из “Литвы, занимавшей немного более двух нынешних губерний, Виленской и Ковенской, — пишет архиепископ Макарий, — а преимущественно из русских областей, обнимавших пространство девяти других, западных и южных, нынешних наших губерний: Смоленской, Витебской, Минской, Гродненской, Могилевской, Черниговской, Киевской, Волынской и Подольской. К этим областям надобно причислить и ту часть Галиции, которая хотя в гражданском отношении находилась под властью Польши, но в церковном принадлежала к Литовской митрополии” [3. С. 21]. “Русский народ диалектологически здесь принадлежал ко всем трем своим ветвям: великорусской, белорусской и южно-русской, названной греками малорусской. В самой столице Литвы — Вильне к концу XV в. половина населения была по вере православной, а по расе и языку русской” [4. С. 535–536]. И, “хотя польская государственность и наводняла Литву делопроизводством и актами на польском языке, с литовской стороны государственный язык русский преобладал и был обязательен в актах и договорах. Даже акты королевской власти, публикуемые законы и все судопроизводство в Литве обязательно совершалось на государственном для Литвы русском языке” [4. С. 537]. В то же время, но-

ся имя *русского*, язык этот уже отражал оформление белорусского диалекта на лексическом и грамматическом уровнях.

Б. А. Успенский считает, что в основе *простой мовы* “лежит актовый канцелярский язык Юго-Западной Руси, официально признанный в польско-литовском государстве как язык судопроизводства. Этот язык, постепенно теряя функции делового языка, становится литературным языком в широком смысле, т.е. употребляется и вне деловых текстов. Став языком литературы (в том числе и конфессиональной), этот язык подвергся нормированию (главным образом на уровне орфографии и морфологии). Таким образом, *проста мова* представляет собой книжный (литературный) язык, возникший на основе делового государственно-канцелярского языка Юго-Западной Руси” [5. С. 68–69]. Следовательно, на *простой мове* в XVI веке создаются тексты различного содержания: и делового, и церковного.

В нашем исследовании основное внимание будет уделяться священным текстам, так как Евангелия, имея схожие структуру и содержание, лучше поддаются сравнению и анализу (например, при сравнении параллельных фрагментов, написанных на *простой мове* и церковнославянском языке того периода), нежели тексты деловой письменности.

Следует отметить, что на развитие и распространение *простой мовы* сильно повлияло то, что в середине XVI века на территорию Великого княжества через Польшу и другие соседние государства стало проникать протестантство. “По отношению к священным книгам влияние протестантства выразилось двояким образом: с одной стороны, в появлении критического отношения к тексту священных книг, в желании иметь точный и полный перевод Библии; с другой – в желании иметь книги на родном и притом по возможности простом, народном языке, который всем был понятен. Первое вызвало проверку Библейского текста по еврейским священным книгам, которые принимались за первоисточник; второе – способствовало появлению значительного количества переводов книг Ветхого и Нового Заветов на народную речь – польскую и русскую” [6. С. 10–11].

Первые попытки перевода книг Ветхого и Нового Завета на *просту мову* относятся к началу XVI века: в 1517–1519 годах вышли в свет книги Ветхого Завета в переводе Франциска Скорины, рукописное Евангелие первой половины XVI века, текст которого в основе своей церковнославянский, но отдельные слова переданы по-малорусски.

Значительно богаче подобными переводами вторая половина XVI века: Пересопницкое Евангелие (1556–1561 гг.), Евангелие Тяпинского (около 1570 г.), Житомирское Евангелие (1571 г.), являющееся переделкой Пересопницкой рукописи, Летковское Евангелие, в целом – церковнославянское, но со значительной малорусской вставкой, перевод Нового Завета В. Негалевского (1581 г.), а также многочисленные списки и переводы Учительных Евангелий XVI–XVII веков.

Лексический состав *простой мовы* очень неоднороден, поэтому исследователи не могут прийти к единому мнению о происхождении языка. По этой же причине нет также единого мнения о том, как называть этот язык. Например, Франциск Скорина называет язык своих изданий *руским*, противопоставляя ему язык *словенский*. Василий Тяпинский, переводчик Евангелия на *просту мову*, называет западнорусский народ и его язык *зацным руским*. Как писал Е. Карский, “вследствие преобладания в этом наречии особенностей теперешних белорусских говоров многие ученые исследователи называют его белорусским, как, например, Буславев, Огоновский, Житецкий, Соболевский, Недешев, Владимиров, Крыжанич” [1. С. 3]. С другой стороны, западнорусские писатели того времени иногда называют его также *литовским*. Так, «Лаврентий Зизаний слово “катехизис” объясняет следующим образом: “по-литовски оглашение”; или Памва Берында в своем словаре (1653 г.) говорит: “петель: чески и руски, когуть; волынски. певень; литовски. петух» [1. С. 1]. Есть исследователи, которые из-за присутствия в западнорусском наречии элементов польского языка, называют его русско-польским языком, а некоторые из них – даже наречием польского языка (Штриттер, Греч, Линде).

Многие исследователи указывают на искусственность *простой мовы*. Некоторые из них по этой причине даже отказывают языку в собственном названии. Так, Бодянский писал о западнорусском наречии: “Им никто никогда не говорил и не говорит... (так как он представляет) самую отвратительную смесь, какую только можно себе представить и какая когда-либо существовала на Руси” [1. С. 2]. А исследователь Головацкий то же говорил о языке Библии Ф. Скорины: “То язык ни белорусский, ни великорусский, ни малорусский, а язык книжный искусственный, яким никто никогда не говорил и не говорит” [1. С. 2].

Действительно, западнорусское наречие приняло в себя как черты общерусского языка, так и особенности местных народных говоров. “Когда оно стало языком литературы, в него обильным потоком вошли еще, с одной стороны, стихия церковнославянская книжная, а с другой – при посредстве речи образованного общества со временем проник язык польский; вследствие указанных обстоятельств наречие книжное западнорусское, как и всякий язык литературы, стало в большей или меньшей степени искусственным” [1. С. 6]. Об этом же пишут и украинские исследователи: «Письменство цее вживало особливої мішанини, аж надто незграбного жаргону (“язичія” за пізнішою термінологією), де неорганічно зливалися до купи елементи церковно-слов’янські, польські і малоруські (вони рівночасно й білоруські)» [7. С. 114].

Изучение *простой мовы*, как нам представляется, должно основываться, в первую очередь, на сравнении и сопоставлении священных текстов, написанных на этом языке, с церковнославянскими памятниками этого периода. В данном исследовании для изучения *простой мовы* было решено остановиться на Евангелии Тяпинского [8] – этот источник вы-

деляет как один из основных Б.А. Успенский [9. С. 397], а для сопоставления с церковнославянским языком приводится текст Евангелия по списку Острожской Библии (ОБ), изданной в 1581 году.

Грамматические особенности *простой мовы* на материале Евангелия Тяпинского выражаются в употреблении переводчиком контаминированных глагольных форм прошедшего времени (перфектные формы).

Переводчик Евангелия использует как традиционные, так и контаминированные перфектные формы, которые напоминают современную польскую парадигму в прошедшем времени. Тяпинский присоединил к основам на -л польские окончания в 1 л. ед. ч. (-от в м. р., -ат в ж. р.) и 1 и 2 л. мн. ч. (-і́сту, -і́ście): 1 л. ед. ч.: *вызвалом* (Мат. 2:15) м. р. – *възва(х)* (ОБ); *уподобалом* (Мат. 3:17) м. р. – *бл(а)говол(и)х* (ОБ); *пришолом* (Мат. 5:17) м. р. – *прійидох* (ОБ); *реклom* (Мат. 16:11) м. р. – *рех* (ОБ); *утерпелам* (Мат. 27:19) ж. р. – *пострадах* (ОБ); 1 л. мн. ч.: *пророковалисмо* (Мат. 7:22) – *пр(о)р(о)чѣствовахом* (ОБ); *выганялисмо* (Мат. 7:22) – *изгонихом* (ОБ); *чинилисмо* (Мат. 7:22) – *сѣтворихом* (ОБ); 2 л. мн. ч.: *слышелисте* (Мат. 5:21) – *слышасте* (ОБ); *неплесалисте* (Мат. 11:17) – *неплясасте* (ОБ); *ненарекалисте* (Мат. 11:17) – *нерыдасте* (ОБ). В белорусской письменности с середины XVI века, наряду с аналитическими формами, начинают встречаться подобные синтетические формы перфекта, в которых глагол-связка сливается с причастием на -л в одно слово. Евангелие Тяпинского является фактически первым памятником, где такие формы имеют значение основной нормы [10. С. 190].

На лексическом уровне в тексте Евангелия Тяпинского можно увидеть заимствования из украинского, белорусского и польского языков. Однако нельзя отрицать, что основа текста Евангелия – общеславянская, и заимствования составляют лишь его небольшую часть. Далее приводятся примеры заимствований в Евангелии В. Тяпинского с параллелями из Острожской Библии: *блюзнеръсѣтво* – *хула* (Мат. 12:31); *будованье* – *зданца* (Мат. 24:1); *виѣточностьва* – *любодеяния* (Мат. 15:19); *грошеи* – *пенязь* (Мат. 18:28); *жолнери* – *воины* (Мат. 8:9); *запроважене* – *преселение* (Мат. 1:12); *звитежство* – *победа*; *зводитель* – *лъстец* (Мат. 27:63); *катом* – *мучителем* (Мат. 18:34); *левица* – *шуица* (Мат. 6:3); *мешкал* – *вселися* (Мат. 2:23); *обличье* – *лице* (Мат. 17:2); *облуда* – *призрак* (Мат. 14:26); *одедича(т)* – *наследят* (Мат. 5:5); *офитосьти* – *избытка* (Мат. 12:34); *покусы* – *напасть* (Мат. 5:44); *правица* – *десница* (Мат. 6:3); *роля* – *село* (Мат. 27:8); *фрасунком* – *печали* (Мат. 13:21).

В заключение, следует отметить, что, хотя церковных памятников, написанных на *простой мове*, дошло не так много, их изучение необходимо для лучшего понимания истории не только белорусского, но и русского языка. Это касается, в первую очередь, исторической грамматики, но также лексикологии и лексикографии. Именно на “простой мове” впервые в конце XVI века появляются тексты металингвистического характера (словари): “Лексис” Лаврентия Зизания (1596) [11], “Лексікон

славено-россій и имен Тлъкованіе” Памвы Берынды (1627 г.) [12], анонимный рукописный словарь “Синоніма славеноросская” [13].

Таким образом, памятники, написанные на *простой мове*, могут стать интересным объектом исследования не только для историков языка, но и для лингвистов, изучающих современное состояние языка через призму истории.

### Литература

1. Карский Е. Что такое древнее западнорусское наречие; отд. оттиск из “Трудов IX археол. съезда в Вильне”. М., 1893.
2. Гардзанини М. “Учительское Евангелие” Мелетия Смотрицкого в контексте церковнославянской традиции евангельской гомилетики и проблема перевода Евангельских чтений // Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia Ucraina e Russia XVI–XVIII secolo. Alessandria, 1999.
3. Архиепископ Макарий [Булгаков М.П.]. История русской церкви. Период разделения русской церкви на две метрополии. М., 1996. Кн. 5. Т. 9.
4. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. 1993. Т. I.
5. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.
6. Назаревский А.А. Язык Евангелия 1581 года в переводе В. Негалевского // Университетские известия. Киев, 1911. Кн. 8, 11, 12.
7. Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’яток письменської старо-українщини XI–XVIII вв. Київ, 1924.
8. Evanhelije in der Übersetzung des Vasil Tjapinski um 1580. Facsimile und kommentare. Padeborn, München, Wien, Zürich. 2005.
9. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). М., 2002.
10. Мова беларускай письменнасці XIV–XVII стст. / Под ред. А.І. Жураўскі. Мінск, 1988.
11. Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская / Підг. текстів пам’яток і вступ. ст. В.В. Німчука. Київ, 1964.
12. Лексикон славенороський Памви Беринди / Підг. тексту і вступ. ст. В.В. Німчука. Київ, 1961. С. 271.
13. Синоніма Славеноросская / Издано П. Житецким вместе с “Очерком литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII вв.” Киев, 1889. Ч. I.



*“Церковный словарь” протоиерея Петра Алексеева*

© С. В. ФЕЛИКСОВ

Конец XVIII – начало XIX века по праву можно назвать временем зарождения отечественной научной лексикографии. Среди различных типов словарей, создающихся в этот период, особое место в культурном наследии занимают лексикографические произведения, предметом описания которых является православная лексика.

Первым опытом такого сочинения в истории русской лексикографии стал “Церковный словарь, или истолкование речений славенских древних, також иноязычных, без перевода положенных в Священном Писании и других церковных книгах” протоиерея Петра Алексеевича Алексеева. Этот лексикографический труд, по словам И.И. Срезневского, представляет собой “краткую энциклопедию ученых и церковных терминов” [1. С. 222]. В полноте своей отражая основной состав православной лексики, сложившейся в языке к тому времени, он является одним из ценнейших источников по ее лингвистическому изучению и, вместе с тем, “самым замечательным и важным трудом протоиерея Алексеева” [2. С. 308].

Несмотря на свою значимость для русской культуры, “Церковный словарь” вплоть до настоящего времени не был объектом специального лингвистического рассмотрения, хотя упоминания о нем и краткие статьи содержатся в работах И.И. Срезневского, М.И. Сухомлинова, С.К. Булича, В.В. Виноградова, С.А. Цапиной, А.М. Камчатнова и др.

Автор “Церковного словаря” Петр Алексеевич Алексеев, известный церковный и общественный деятель XVIII века, родился в 1727 году в Москве в семье пономаря. Образование получил в Славяно-греко-латинской академии. За год до ее окончания в 1752 году был рукоположен в диаконы в Архангельский кремлевский собор, а через пять лет за усердное служение и труды, связанные с “разбором и описанием сино-

дальной библиотеки” [2. С. 282], произведен в священники при той же церкви. В 1763 году Алексеев был определен на служение в Успенский кремлевский собор в должности ключаря, а впоследствии, в 1771 году, снова поступил в Архангельский собор в сане протоиерея, оставаясь на этом месте и в этом же звании до самой кончины, последовавшей в 1801 году.

Свое церковное служение протоиерей П.А. Алексеев сочетал с общественной и научной деятельностью. В течение сорока двух лет, с 1759 по 1801 год, он преподавал Закон Божий в Московском университете, был активным членом ученых обществ университета – Вольного Российского собрания и Общества любителей учения, созданных с целью “исправления и обогащения русского языка” [2. С. 9], имел звание профессора. В 1783 году, наряду с Г.Р. Державиным, Д.И. Фонвизиным, А.А. Барсовым и другими “первостепенными нашими учеными и писателями” [2. С. 1] того времени, П.А. Алексеев был избран в Российскую Императорскую Академию, став первым духовным лицом в ее составе. За свои заслуги в 1787 году по представлению Университета Алексеев был пожалован золотым наперсным крестом на черной ленте, а в 1797 награжден Павлом I орденом святой Анны 2-й степени.

Научно-литературные труды П.А. Алексеева принадлежат к числу “выдающихся явлений литературы XVIII века” [2. С. 280]. Памятниками “трудолюбия и образованности” [2. С. 301] Алексеева служат его произведения: *богословские* – “Катехизис, то есть учение о вере Христианской на вопросы и ответы расположенное”, “Разсуждение на вопрос: Можно ли достойному священнику, миновав монашество, произведено быть во Епископа”; *исторические* – “Краткое начертание истории грекороссийской церкви”, “Путеводитель по Архангельскому собору”; *лексикографические* – “Церковный словарь”, “Словарь всех еретиков и раскольников”, а также проповеди, слова, речи, переводы, материалы, связанные с преподаванием катехизиса.

В своих сочинениях протоиерей П.А. Алексеев затрагивал вопросы, связанные с церковной и общественной жизнью России XVIII века, историей христианской Церкви, а также, опираясь на православное учение о познании и духовный опыт Церкви, разрабатывал учение о единстве веры и знания, о глубинной связанности разных сфер духовно-интеллектуальной деятельности человека – богословия, философии и науки. В русле этой просветительско-религиозной традиции был написан главный научный труд П.А. Алексеева – “Церковный словарь”.

По словам М.И. Сухомлинова, “Церковный словарь”, явился плодом “неутомимой любознательности и трудолюбия” П.А. Алексеева, его “обширной начитанности и добросовестных приготовительных работ” [2. С. 309] для научного преподавания катехизиса университетским ученикам. Для своего времени труд этот был “явлением в высшей степени замечательным” [2. С. 334]. Книгой “ученейшей и полезнейшей”

назвал “Церковный словарь” известный собиратель рукописных и старопечатных русских книг, профессор Московского университета Ф.Г. Баузе [2. С. 334]. В надписях, помещенных к Словарю, одна из которых принадлежит знаменитому литератору того времени В.Г. Рубану, а другая неизвестному сочинителю, протоиерей П.А. Алексеев предстает как продолжатель дел “великого Ломоносова”, снискавший своим “талантом” почтение “ученого света” и “славу память” о себе:

Церковных пользу книг, в них важность слова Россов,  
 Пространно доказал великий Ломоносов <...>  
 И се речениям из книг тех извлеченным  
 Со изъяснением зрим полный алфавит,  
 Сим благом общество священный муж дарит,  
 Ученый свет его за труд сей почитает,  
 И славу тем себе он память оставляет.

(Надпись к “Церковному словарю” Василия Рубана)

Не тщетный вымысел, ни гнусна свойством лесьть  
 Здесь Алексеева дает талантам честь;  
 Но все Российских стран ученые светила  
 Гласят, что слов его толк справедлив и сила [3].

(Надпись к “Церковному словарю” от неизвестного сочинителя)

В Предисловии к “Церковному словарю” протоиерей П.А. Алексеев указывал на причину создания своей книги. Автор обратил внимание читателей на то, что в текстах Священного Писания, переведенных “с Еллиногреческого языка на Словенский <...> остались речения, на наш язык не переведенные, для особливаго их уважения, или переведенные, но не всем вразумительные” [4. С. 5]. Это обстоятельство затрудняет чтение и понимание священных книг, поэтому “необходимость требовала сочинить особый всем неизвестным или в незнакомой силе взятым речениям, с кратким оных изъяснением церковный словарь” [4. С. 6].

Желание принести пользу обществу и университетским слушателям побудило П.А. Алексеева опубликовать свой кабинетный труд. Автор питал “не обосновательную надежду” на то, что те люди, которые “доселе удалялися от чтения священной Библии” из-за встречающихся там непонятных слов благодаря этому пособию станут охотно ее читать и “прямый оная разум постигать на природном языке” [4. С. 8], а “любезное отечество в скором времени увидит на своем коренном языке достойных Витиев, Стихотворец и Историй писателей” [4. С. 9].

Получив положительную оценку современников, “Церковный словарь” со времени своего появления выдержал четыре издания. Первое, однотомное, ставшее “самым важным трудом, изданным Вольным Российским собранием” [2. С. 340], вышло в 1773 году в типографии Императорского Московского Университета и содержало более 4300 сло-

варных статей. В 1776 году выходит “Дополнение к Церковному словарю” [5], насчитывающее более 3900 словарных статей, а в 1779 году – “Продолжение Церковного словаря”, содержащее около 1600 словарных статей. Второе издание Словаря вышло в свет в 1794 году в трех частях в Санкт-Петербурге при Императорской Академии Наук, в нем содержится около 9800 словарных статей. Последующие издания были осуществлены после смерти автора. Третье издание, состоящее из четырех частей, вышло в 1815–1816-м годах в Москве в Синодальной Типографии, оно включило в себя более 10400 словарных статей. Четвертое издание Словаря было подготовлено двумя членами Российской Императорской Академии – Д.М. Соколовым, ее казначеем (он осуществил печатание Словаря до буквы С), а после его смерти в 1819 году работу завершил непреременный Секретарь Российской Академии – П.И. Соколов.

В Предуведомлении, написанном от лица его издателей, сообщается о том, что при новом, четвертом, издании “Церковного словаря” покойного протоиерея Алексеева они, желая сделать его “сколько возможно, полнее и совершеннее, не токмо не упустили исправить погрешности и недостатки, усмотренные ими в прежних изданиях, но и приумножили оное новым дополнением разных слов и речений <...> собранных чрез прочтение из Библии и из многих других церковных книг и духовных отеческих творений”, надеясь таким образом “принести новую пользу просвещенной Публике” [6]. Четвертое издание было опубликовано в пяти частях в 1817–1819-м годах в Санкт-Петербурге в Типографии Ивана Глазунова, в нем содержится более 15300 словарных статей. Издания “Церковного словаря” были одобрены к печати Конторою Святейшего Правительствующего Синода и Преосвященнейшим Митрополитом Московским Платоном.

В основу словника “Церковного словаря” положен азбучный принцип объединения словарных статей, которые имеют четко выраженный порядок изложения сведений: 1) заглавное слово; 2) его формальные характеристики (орфоэпические, грамматические, стилистические, этимологические); 3) его толкование; 4) извлечения из текстов (иллюстративный материал); 5) отсылки к источнику, справки разного характера и назначения.

В качестве заглавных используются слова и выражения, извлеченные из текстов Священного Писания и других церковных и духовных книг, истолковывающие религиозные и нерелигиозные понятия. Первоначально автор имел намерение включить в словник лишь “неудобные разумению” речения древнеславянские и иноязычные, оставленные без перевода, о чем сообщалось в Предисловии к Словарю, а также отразилось в его названии. Однако в ходе работы этот замысел претерпел изменение. В результате в словник были включены и те “речения”, которые, по мнению сочинителя, требуют особых “богословских и ис-

торических примечаний”, независимо от их древности и происхождения.

Религиозная лексика, выступающая в Словаре в качестве заглавных слов, составляет основной предмет истолкования автора. В своей совокупности она отражает понятийную систему православной веры, сложившуюся к тому времени, именуя реалии, относящиеся к различным сферам церковной жизни, например: *авва, господь, архиерей грядущих благ, царствие божие, ангел, архистратиг, алтарь, икона, лампада, игуменский, елеосвящение, епископия, уныние* и др. Нерелигиозная лексика, включенная в состав Словаря в качестве заглавных слов в своей совокупности образует культурно-исторический пласт слов, способствующий прояснению и углублению значений религиозной лексики. Она именуется реалии, относящиеся к классической древности, к средневековой культуре, к старинному русскому быту и др., например: *друиды, барды, алкион, крокодил, единорог, заяц, комита, климат, жемчуг, холера, апоплексия, этимология, чиновник, философ, урок* и др.

Заглавными словами в Словаре выступают “речения” разные по своей структурно-грамматической природе: слова знаменательных и незнаменательных частей речи (*звонница* – сущ., *алойный* – прилаг., *еже* – союз, *ни* – част.), сочетания слов на основе предикативной и не-предикативной связи (*звезда утренняя; Бог видит*). Заголовочное существительное в большинстве случаев приводится в форме им.п. ед.ч (*пастырь*), глаголы в основном приведены в инфинитиве (*дароносить*). Нередко многие слова вносились в той форме, в которой стояли, по связи в речи, в приводимом месте памятника (*поюще, вопиюще, зывающее и глаголюще*).

В Словаре имеются формальные характеристики заглавных слов, в частности 1) орфоэпические – в большинстве случаев отмечено место ударения в слове: над ударной гласной в начале и середине слова ставится острое ударение, на конечном ударном гласном в слове – тяжелое ударение (*ефа* и *ифа*); грамматические – указывается частеречная принадлежность для наречий, предлогов, союзов с помощью помет – *нареч., предл., союз*; для глаголов приводятся формы 1 и 2 л. ед.ч. наст. вр.; у прилагательных и причастий, помимо начальной формы – *им.п. ед.ч. м.р.*, приводятся окончания *ж. и ср.р. и др.*; 3) стилистические – русские, употребительные в разговорном языке слова и выражения, сопровождаются пометой *просто*; 4) этимологические – включены сведения о языке-источнике заимствования – *евр., сирское речение, греч.*

При истолковании заглавных слов в Словаре используются различные типы определений, содержащие в одних случаях только лексическое значение определяемого слова, а в других – помимо лексического значения, “обширные сведения о различных понятиях и предметах, находящихся в большей или меньшей связи с библейскими и византийскими повествованиями” [2. С. 312]. Это обстоятельство “до некоторой

степени придает Словарю вид энциклопедического, напоминающего собой в общих чертах старинные наши азбуковники” [2. С. 312].

Лингвистические толкования значений слов в “Церковном словаре” обыкновенно “весьма коротки” [2. С. 334]. Основными видами толкования знаменательных слов являются: 1) толкования, содержащие указание на ближайшее родовое понятие и существенный видовой отличительный признак – *кропило* “кисть из травы обыкновенно сделанная с рукоятим для кропления освященною водою”; 2) толкования, содержащие указание на “целое” или “совокупность частей” и существенные отличительные признаки конкретной части – *давир* “часть храма соломонова, коя нарицается святая святых, где Кивот Завета с Херувимами осеняющими стоял”; 3) толкования, указывающие на происхождение или цель обозначаемого предмета – *андроники* “от Андроника некоего произошедшие, Севировой ереси державшагося”; 4) толкования, указывающие на тождество данного значения другому, более известному (синонимические толкования) – *благодать* “любовь, благоволение, доброжелательство и благотворение”. При истолковании несамостоятельных частей речи используются толкования, содержащие указания на условия и способы реализации в тексте данного значения слова: *без*, союз, сочиняемый с родительным падежом. Когда же входит оный в сложение с другими словами, или слитно употребляется; тогда имеет силу отрицательной частицы *не*.

Толкования многозначного слова в Словаре приведены под одной вокабулой, например: *Пасха* – “1) прехождение Ангела губителя, прошедшего дома Еврейские во Египте без погубления живущих. 2) Весь праздник Пасхи Иудейской, Лук: 2. 41. и гл. 22. стих: I. Иоан: 2. 23. 3) Самого Христа яко истинную Пасху нашу за нас пожертвую. I Кор: 5. 7. 4). Иногда значит агнца пасхального, который был образ самой Пасхи. Марк: 14. 12. Лук: 22. 7”.

В способах толкования слов “отзываются приемы катехизатора, приспособляющегося к понятиям своих питомцев” [2. С. 331]. Сочинитель “Церковного словаря” старался сообщать не только научные сведения, но и действовать на нравственное чувство учащихся. Так, в статье “первое апреля” автор сообщает читателям о том, что “обычай обманывать другого первого числа Апреля месяца” пошел от “нечестивых”, которые не поверили “воскресению Христову” и теперь “разными выдумками селятся помрачить неоспоримую воскресения истину, и между прочим Апреля 1 числа, в которое по месяцеслову Христос воскрес”. В этот день у них принято “нарочно друг друга обманывать за шутку сошедшихся, один говорит: Иисус воскрес, а другой смеючися отвечает: первое Апреля, то есть неправда. Напротив того Христиане по уставу св. церкви в светлый праздник Пасхи целуя друг друга, говорят, один: Христос воскрес, а другой отвечает, воистину воскрес”. И далее автор наставляет своих читателей: “хотя у нас Пасха для важной причины

не всегда случается в первом числе Апреля, а только ежели ключ границ пасхальный есть 1. Но сведавши гнусный источник, из которого проистекает такой непотребный лганья обычай, должны благочестивые не только 1 Апреля, но и во всякое время блюстись от лжи, яко Богу противной”.

Несмотря на господство поучительного направления, в Словаре нашли место и некоторые рассказы, приведенные не для назидания, а для развлечения и забавы читателей. Так, в статье “обезьяна” автор для забавы читателей приводит “смешной случай о лукавой обезьяне при дворе Сикста II, папы римского, бывшей”, которая “приметила, что служители в зимняя ночи пекут под угольями каштаны, и вынимала по одному железными щипцами из камина, едят. В одно время случилось, что служек вдруг спросили и они ушли, оставя под пеплом недопеклые каштаны. Тогда обезьяна, нашед благовременный случай есть каштаны, за неимением щипцов схватила кошку близ камина сидевшую, и употребила ея лапку на вынимание каштанов. Отсюда вышла италийская поговорка: *savar la castagna con la zampa del gatto*, сходная с нашею: хорошо чужими руками жар загребать”.

Словарная статья в Словаре как правило сопровождается ссылкой на источник, часто с приведением соответствующей цитаты, иллюстрирующей определенную формальную или смысловую особенность заглавного слова – купно утро “г. е. очень рано, с светом вдруг. Матф. 20. 1. Изъде купно утро наняти делатели”. Автор делал извлечение из книг церковной и гражданской печати, обращался к рукописям.

Для “рачителей учености Российской” в “Дополнении к Церковному Словарю”, а также при всех его последующих изданиях содержится Приложение – ирмосы церковные святого Иоанна Дамаскина, которые П.А. Алексеев “за невразумительностию перевода оных” переложил “простым слогом, и употребительными в России стихами”. В Словаре приведены ирмосы Иоанна Дамаскина на три Господских праздника: Рождество Христово, Крещение Господне, Пятидесятницу – их перевод и стихотворное переложение, а также простым российским слогом дан перевод “Степнным первого гласа, поемьем на утрени Воскресной пред Евангелием”. В этих творениях со всей полнотой проявился поэтический талант сочинителя, его глубокое понимание природы славянского слова.

В качестве примера приведем ирмос на праздник Рождества Христова от второго канона, пятой песни из пророчества Исаии, главы 26 (стих с 9 по 21), переведенный протоиереем П.А. Алексеевым на русский язык и переложенный в стихи.

Церковнославянский текст ирмоса:

Из нощи дел омраченныя прелести,  
очищение нам Христе бодрено,

ныне совершающим песнь, яко благодетелю,  
приди подавая удобну стезю,  
по ней же востекающе обрящем славу.

Перевод ирмоса с церковнославянского на русский язык:

Христе благотворителю наш!  
Очисти нас прежде омраченных погрешностями  
от темных дел наших;  
а ныне без сна время провождающих в пении;  
и устрой нам способный путь,  
по которому бы достигли истинной славы.

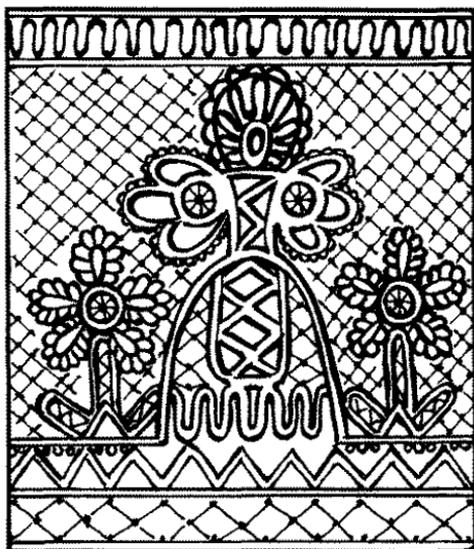
Стихотворное переложение ирмоса на русский язык:

Христе преславный благодетель!  
Покрытых нас делами тьмы  
Очисть, наставь на добродетель  
Поющих бодрими умы:  
Дабы стезю узнавши праву,  
Обрести могли прямую славу.

Содержанием словарной статьи, “выбором источников и пособий, целью и свойством предлагаемых объяснений определяется достоинство и значение” [2. С. 312] труда П.А. Алексеева, представляющего собой новое явление в истории русской лексикографии. Уже в первоначальном своем виде, пишет И.И. Срезневский, труд московского протоиерея “представил ответы на все вопросы, которых решения можно было от него ожидать”, и послужил одним из самых ценных источников и пособий “для самых лучших словарей последующего времени, и до сих пор не потерял своего достоинства не как памятник литературно-исторический, а как пособие полезное для справок” [1. С. 6].

### *Литература*

1. *Срезневский И.И.* Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отделением академии наук // ЖМНП. 1848. № 6.
2. *Сухомлинов М.И.* История российской Академии. СПб., 1874. Т. I
3. *Алексеев П.А.* Церковный словарь. 2-е изд. М., 1794.
4. *Алексеев П.А.* Церковный словарь. 1-е изд. М., 1773.
5. *Алексеев П.А.* Дополнение к Церковному словарю. М., 1776.
6. *Алексеев П.А.* Церковный словарь. 4-е изд. СПб., 1817.



## “Женский день” в Древней Руси

© Е. А. ПОПОВА,  
доктор филологических наук,

© Т. В. ВЕРЕВКИНА

По данным этнографов и культурологов-славистов, в русском языке существовало разделение времени на *мужское* и *женское*, что оказало немалое влияние на уклад жизни Руси.

Так, распорядок дня у мужчин и женщин в русских деревнях был разным. Утренняя деятельность людей обоего пола – *уповод* или *упрѹг* (“время работы в один прием..., до еды и роздыху” [1. Т. IV]) – длилась с момента пробуждения до обеда (за исключением земледельческой поры и охоты) и протекала во дворе, когда старшие раздавали задания молодым. Любому делу предшествовал *начѹл* – осенение крестом и молитва, после чего младшие просили у старших благословения на работу. После завтрака мужчины и женщины работали порознь и позже, вновь по отдельности, обедали: сначала ели мужчины, затем женщины. Бывало и так, что женщины ели стоя, в то время как мужчины во время еды всегда сидели. Если же во дворе стояло два стола, то мужчины и женщины могли обедать в одно и то же время, но и тогда они оказыва-

лись в неравном положении: мужчины ели за передним столом, а женщины – за задним. В некоторых областях на Руси мыть руки перед обедом можно было только мужчинам (согласно данным Смоленского этнографического словаря 1914 г.) [2. С. 40–41].

У русских крестьян, кроме того, в сутках выделялось именно *женское* время, особые *женские* часы. Согласно данным словаря В.И. Даля, на Руси существовал особый, “бабий счет времени, по пряже” – *пряжэй* [1. Т. III]. Именно женской считалась часть суток с очень раннего утра до восхода солнца, и назывался этот период *дóвстань*, *дóвстани* (“очень рано утром, до встанья” [1. Т. II]). Довстань – это событийное время, все отрезки которого были наполнены разными видами женской деятельности: крестьянки в это время занимались прядением, ткачеством, работой по дому, уходом за скотом [2. С. 40].

В словесном народном обиходе очевидно противопоставление *женских* дней *мужским*. Женскими считались *среда* и *пятница* (реже *суббота* и *воскресенье*), мужскими – *понедельник*, *вторник* и *четверг*. Сразу бросается в глаза простое соответствие такого распределения грамматическому роду существительных. Но на самом деле за этим стоит давняя устойчивая традиция, определявшая трудовые действия, ритуалы, обычаи и повседневное поведение в конкретные дни. В зависимости от этого противопоставления накладывались запреты на те или иные виды *мужской* или *женской* деятельности (сев, жатву, прядение, ткачество) [3].

Осколки этих традиций нашли отражение в нашем языке. Так, фразеологизм *семь пятниц на неделе* связан с *женским* днем – *пятницей*. Это выражение восходит к языческому культу богини плодородия, воды, дождя, покровительницы материнства Мокоши. В пятницу, считавшуюся Мокошиным днем, запрещалось работать: нельзя было прясть, купать детей, начинать какое-либо дело и т.д. Христианство перенесло все атрибуты Мокоши на день Святой Параскевы Пятницы. В пятницу следовало поститься, помянуть умерших. Пятницы были торговыми, базарными днями, когда заключались торговые и долговые обязательства, а тем самым и сроком исполнения этих обязательств. Тот, кто не выполнял своего обязательства, обещал исполнить его в следующий базарный день – в следующую пятницу. О человеке, который часто откладывал исполнение обещаний, стали неодобрительно говорить *у него семь пятниц на неделе*, то есть он часто меняет свои решения [4. С. 483].

Типично *мужским* днем издревле был *четверг* – день Перуна, бога грома и молнии, которому возносили моления о дожде во время засухи. Считалось, что особенно охотно он исполняет их в свой день. Но поскольку такие мольбы не раз оставались тщетными, то в народе появилось выражение *исполнится после дождичка в четверг*, т.е. “никогда” [4. С. 162].

Народные поверья, связанные с почитанием пятницы, берут начало от почитания единственной в пантеоне восточнославянских божеств представительницы женского пола – богини Мокоши. Имя ее упоминается наряду с Перуном, Дажьбогом, Стрибогом и другими языческими богами восточных славян в “Повести временных лет”. Изображение этой богини находилось на вершине холма в Киеве рядом с идолами других божеств. С этим образом ассоциировалось множество функций: она являлась воплощением водной стихии (а точнее – земли в единстве с водой), распоряжалась влагой, плодородием, увеличением стад, “бабьим” домашним хозяйством, жизнью, судьбами людей (ср. с мойрами в греческой мифологии, прядущими нить судьбы; в русском языке: *связать свою судьбу с кем-либо*).

После принятия христианства на Руси образ Мокоши был замещен образом Св. великомученицы Параскевы Пятницы. Именно она считается покровительницей прядения, ткачества и вообще женского хозяйства и домашнего благополучия в православной культуре. Параскева Пятница была “бабьей святой”, так как крестьянки считали ее своей заступницей. Кроме того, Параскеву Пятницу почитали как покровительницу брака и торговли, в ее честь строили храмы на торговых площадях. Святой Пятнице, несмотря на церковные запреты, приносили жертву, бросая в колодец пряжу, кудель. Долгое время в народной среде сохранялись многочисленные суеверия, связанные с Мокошей-Пятницей: в пятницу нельзя стирать белье, шить, пахать и боронить, даже варить пищу, нельзя пряхать и оставлять кудель (а то *Мокоша опрядет*). Если ночью веретено урчит, говорили, что *Мокоша прядла*. Ее представляли в виде женщины с длинными руками и большой головой, которая ходит по домам и прядет шерсть. Любопытно, что запрет на стирку и шитье в пятницу сохранялся в России вплоть до начала XX века. Наказание невидимой пряхи было достаточно жестоким – она, согласно поверьям, могла истыкать “виновную” кудельной спицей или даже превратить ее в лягушку.

Культ Пятницы-Мокоши обнаруживается в особом пятничном календаре. Несмотря на то, что духовенство всеми мерами старалось изжить остатки языческой старины, в памяти русского народа сохранилась параллельная церковной система отсчета времени. Распределялись в году двенадцать пятниц следующим образом: 1-я пятница – в первую неделю Великого поста, 2-я – перед Благовещением (до 7 апреля, или 25 марта по старому стилю), 3-я – страстная пятница на Вербной неделе (перед Пасхой), 4-я – перед Вознесением, 5-я – перед Троицыным днем, 6-я – перед рождеством Иоанна Предтечи или днем Ивана Купалы (до 7 июля, или 24 июня по старому стилю), 7-я – перед Ильиным днем (до 2 августа, или 20 июля по старому стилю), 8-я – перед Успением (до 28 августа, или 15 августа по старому стилю), 9-я – перед днем Кузьмы и Демьяна (до 14 ноября, или 1 ноября по старому стилю).

10-я – перед днем архангела Михаила (до 26 октября, или 8 ноября по старому стилю), 11-я – перед Рождеством (до 7 января, или 25 декабря по старому стилю), 12-я – перед Богоявлением, Крещением (до 19 января, или 6 января по старому стилю) [5].

Важнейшими в языческом календаре считались 9-я и 10-я пятницы. Этот период – конец октября и первая неделя ноября – является началом нового цикла деревенских женских работ: тяжелая страда позади, хлеб убран, лен надерган, вымочен и оттрепан (на это уходит октябрь) и, по народным приметам, должен начинаться устойчивый санный путь и одновременно долгие зимние посиделки – коллективное прядение шерсти. Во время посиделок пелись песни, рассказывались сказки; разгадывались мудреные загадки; иногда работа перемежалась играми и танцами. Две главные пятницы стояли у начала этого сезона, открывали его. Празднества начинались тканьем *обыденной пелены* (то есть вытканной в один день) в честь 9-й пятницы. Девушки коллективно проделывали в один день весь годичный цикл работ: теребили лен, пряли, ткали, белили. А второй темой октябрьско-ноябрьских празднеств было сватовство и замужество [6].

Как видим, вся обрядность была связана с женскими делами, с началом брачного сезона и долгой поры женских работ. Отсюда можно признать именно 10-ю, главную пятницу, которая приходилась на 8 ноября (по старому стилю), древним восточнославянским женским днем.

### Литература

1. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1991.
2. Крейдлин Г.Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации. М., 2005.
3. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. М., 1990. С. 48.
4. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. СПб., 2001. С. 483.
5. Анисимова О.М., Кусков В.В., Одесский М.П., Пятнов П.В. Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник. М., 1994. С. 318–319.
6. Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1989. Т. 2.

## Это легкое имя Пушкин!

© Г. Ф. КОВАЛЕВ,

доктор филологических наук

*А этот полк готовит к стрельбам пушки –  
Ему не подойдет ли имя “Пушкин”?*

*Н. Энтелис*

О важности пушкинской лиры и изучения творчества А.С. Пушкина, а также его биографии пророчески и прекрасно, как будто в наше время, сказал В.В. Розанов: «Если бы Пушкин не только изучался учеными, а вот вошел другом в наши дома, – любовно прочитывался бы, нет, – *трепетно переживался бы каждым русским от 15 до 23 лет*, – он предупредил бы и сделал невозможным разлив пошлости в литературе, печати, в журнале и газете, который продолжается вот лет десять уже. Ум Пушкина предохраняет от всего глупого, его благородство предохраняет от всего пошлого, разносторонность его души и занимавших его интересов предохраняет от того, что можно было бы назвать “раннею специализацией души”: так, марксизм, которому лет восемь назад отданы были души всего учащегося юношества, совершенно немислим в юношестве, знакомом с Пушкиным» [1].

Фамилия А.С. Пушкина на первый взгляд проста. Мальчишки сразу же скажут, что она происходит от *пушки*. И это верно, только вот вопрос: от какой пушки – артиллерийской?

В своих мемуарах И.В. Одоевцева так вспоминала слова, прочитанные А.А. Блоком на юбилейном вечере Пушкина:

“Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкина. Это имя, этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни... Это легкое имя Пушкин...” И сама же добавила, как бы находя противоречие в словах А.А. Блока: “Ничего легкого. Ничего веселого. Ведь Пушкин – от пушки, а не от пушинки. Что веселого в пушке?” [2]. Ей как бы вторит и Марина Цветаева: “Кто же сейчас думает, что Пушкин – от пушки. Некрасов – от некрасивости, Фет – от fett...” [3]. Литературовед В.Н. Турбин даже посетовал: «...в самой фамилии Пушкина был запрограммирован ВЫСТРЕЛ (зачем же нужны пушки, если не для того, чтобы в кого-либо стрелять? Поэт бесконечно обыгрывает свою фамилию – в той же “Моей родословной”, – не видя ее пророческой семантики...)» [4]. Однако их мнение обнажает лишь первые ассоциации, поверхность явле-

ния, а не его сущность. Сам А.С. Пушкин в стихотворении “Моя родовая” писал:

Мой прадед Рача мышцей бранной  
Святому Невскому служил...

С гордостью в “Начале автобиографии” поэт сообщал: “Мы ведем свой род от прусского выходца *Радши* или *Рачи* (*мужа честна*, говорит летописец, т.е. знатного, благородного), выехавшего в Россию во время княжества св. Александра Ярославича Невского. От него пошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменские, Бутурлины, Кологривовы, Шерефетдиновы и Товарковы. Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории. В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал царя Ивана Васильевича Грозного, историограф именует и Пушкиных. Григорий Гаврилович Пушкин принадлежит к числу самых замечательных лиц в эпоху самозванцев”.

Как выяснил С.Б. Веселовский, *Ратиша* – это новгородская форма имени *Ратислав*. В частности, он объяснял: “Наиболее вероятным Ратшей рода Пушкиных представляется имя Ратислава. Из летописей известно, что у великого князя Александра Невского был слуга Ратислав, который после смерти Александра Невского служил его брату Ярославу и был убит в 1268 г. в большом походе против немцев под Раковором. В некоторых списках летописей этот Ратислав называется Ратшей и Ратишкой, а иногда, по малограмотности переписчиков – Ратышей и Рачтшей” [5. С. 15–16].

*Пушкой* прозывался далекий предок русского гения, Григорий Александрович Морхинин. И был он уже седьмым коленом от Ратши. Тот же С.Б. Веселовский писал о нем: «В середине XIV в. в Москву стали проникать сведения об изобретении огнестрельного оружия, для определения которого на основе русских корней “пыл” и “пых” было образовано новое слово “пушка”. Оправдывалось ли какими-либо личными чертами характера Григория Морхинина применение к нему прозвища Пушка, сказать невозможно, так как прозвища нередко давали с детства и без всякой связи с личными качествами человека» [Там же. С. 35]. Однако в примечании он же отметил: “Нет сомнения, что иногда прозвища бывали меткой характеристикой лица. Таковы, например, прозвища Хромой, Криворот, Косой, Шадра (рябой от оспы), Свибло (шепелявый, косноязычный), Возгра и Возгрявая Рожа (сопливая)” [Там же].

Прочитав исследование С.Б. Веселовского, А.Т. Твардовский, доверившись авторитету академика, писал: “Фамилия Пушкин молодая – со времени понятия об огнестрельном оружии на Руси – XIV–XV вв.” [6].

Н.И. Грановская в сомнении писала: «Было ли это [прозвище Пушка. – Г.К.] связано с причастностью к пушечному делу или объяснялось

характером этого правнука Гаврилы Алексича, неизвестно. Новое русское слово – пушка – от корней “пыл” и “пых” было образовано как раз в то время, когда на Русь из Европы проникли сведения об изобретении огнестрельного оружия» [7].

Однако, видимо, Г.А. Морхинин получил свое прозвище *Пушка* не по артиллерийскому орудию, а именно из-за безудержного нрава, отсюда же и глаголы *пушить*, *распушить* – “ругать”, “взрываться”. Нрав предка наблюдался и у прадеда А.С. Пушкина: “Александр Петрович был невидным представителем рода Пушкиных. Он начал службу рядовым Преображенского полка, в 1725 г. получил чин каптенармуса, и на этом его карьера окончилась. В припадке ревности он убил свою жену, за что был посажен в тюрьму, где и умер в 1725 г.” [5. С. 62]. Не зря, очевидно, в своих лекциях, посвященных А.С. Пушкину, Владислав Ходасевич, анализируя предков А.С. Пушкина, отмечал их беспримерно спокойный характер как по отцовской, так и по материнской линии: “Интриганы, беспокойные люди. Род Пушкиных мятежный. <...> Беспокойные, бурные, тяжкие люди и по матери” [8]. Да и сам поэт отмечал взрывчатый нрав своих предков. Так, в автобиографических записках он писал о своем деде Льве Александровиче Пушкине: “Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе”.

*Пушки* же в Московской Руси появились лишь во второй половине XV века. Первая пушечно-литейная мастерская была построена в Москве в 1475 году, а в 1494 году появился первый пороховой завод – зеленая мельница [9]. Пушечный двор располагался на берегу реки Неглинной вблизи теперешней Лубянки. Лишь словесным следом от него осталась улица *Пушечная*.

Правда, в Словаре древнерусского языка И.И. Срезневского уже дается слово *пушка*: “пушка – метательное орудие: – Граждане ж противу их подвизахусь, стреляюще и камением шибяущеи самострелы напрязающе и пороки и тюфяки; есть же нецьи и самыя пушки пушаху на них. Никон. л. 6890 г.” [10]. Эта запись относится к 1472 году, кроме того, совсем неясно, что же это за пушка была? В “Словаре русского языка XI–XVII вв.” слово *пушка* подается еще и как “пушечное ядро (1453): Прилетевше бо на излете пушка и удари Зустунева, и срази ему десное плече. Воскр. лет. VIII, 139” [11]. То есть первыми пушками называли и то, чем *запускали* снаряд, и сам *запущенный* снаряд. Скорее всего, это были устройства не артиллерийские, а механические, типа баллист. И тогда термин *пушка*, естественно, должен быть образован от глагола *пукати/пустити*.

Более позднее устройство работало на вспыхивающем порохе, поэтому *пушка* как артиллерийский термин образована от слов с корнями

*пух-/пых-/пуш-/пыш-* (ср. *дух-/дых-* и *душа / дышать*). Интересно, что аналогично описывает своего героя в “Преступлении и наказании” Ф.М. Достоевский. Устами начальника квартального поручика Ильи Петровича Пороха он говорит о подчиненном как о наиболее благороднейшем человеке, но: «порох, порох! Вспыллил, вскипел, сгорел – и нет! И всё прошло! <...> Его и в полку называли: “поручик-порох”».

Отсюда видно, что А. Блок был абсолютно прав в своих поэтических ассоциациях, производя фамилию А.С. Пушкина не от позднейшего однокоренного слова *пушка* (артиллерийское орудие), а от более раннего *пушка* – “вспыльчивый человек, способный внезапно распушить кого угодно”, которое, в свою очередь, сформировалось на базе “легких” корней *пух-* и *пых-*. Сравните почти лингвистическое высказывание А. Битова, сделанное без ссылок на А. Блока: “Пушкин, наш Моцарт, происходит не от тяжелой меди, но от пуха” [12].

### Литература

1. Розанов В.В. Литературное приложение к Торгово-Промышленной газете. 1899. 23 мая.
2. Одоевцева И.В. На берегах Невы. М., 1989. С. 206.
3. Цветаева М.И. Незданное. М., 1967. С. 346.
4. Турбин В.Н. Поэтика романа А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. М., 1996. С. 146.
5. Веселовский С.Б. Род и предки А.С. Пушкина в истории. М., 1990.
6. Твардовский А.Т. Рабочие тетради 60-х годов // Знамя. 2003. № 10. С. 146.
7. Грановская Н.И. Род Пушкиных мятежный... СПб., 1992. С. 23.
8. Владимир Ходасевич о Пушкине // Русская литература. 1999. № 3. С. 92.
9. Отечественная артиллерия, 600 лет. М., 1986. С. 13.
10. Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1912. Т. 2.
11. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1995. Вып. 21.
12. Битов А. Давид, победивший Голиафа // Лит газета. 1998. № 49–50. С. 10.



**История  
одного  
литературного  
псевдонима**

© В.В. НИКУЛЬЦЕВА,  
кандидат филологических наук

*...Я, гений Игорь-Северянин,  
Своей победой упоен:  
Я повсеградно озкранен!  
Я повсесердно утвержден!*

Громкие строки из программного произведения известного поэта-эгофутуриста, со скандальным триумфом вступившего на литературную арену “пестрой” [1] эпохи Серебряного века, известны каждому любителю русской словесности. Но в сознании читателя XXI века литературный псевдоним этого поэта воспринимается как синтез имени *Игорь*, полученного при крещении, и вымышленной фамилии *Северянин*. Однако и многие современники поэта так же воспринимали сочетание *Игорь Северянин*, несмотря на то, что стихи, в том числе те, чьи-ми строками открывается Эпилог “Эго-футуризма” (1912), были подписаны иначе – *Игорь-Северянин*. Каким же образом могло возникнуть противоречие между авторской волей и восприятием современников?

Игорь Васильевич Лотарёв (1887–1941) весьма обдуманно выбрал псевдоним *Игорь-Северянин*, под которым и вступил в большую литературу в 1913 году (с выходом в свет его нашумевшей первой книги поэт “Громокипящий кубок”), хотя намного раньше, с 1903 года, начал подписывать таким образом свои стихи [2]. Но на обложках ранних брошюр этот псевдоним появился только в 1908 г. [3] (по данным Н. Харджиева, в 1907), несмотря на то, что поэт начал печататься, как он сам утверждал, в 1905 г. (по сведениям В. Кошелева и Н. Харджиева, совпадающим с библиографическими данными, в 1904 г.) под собственной фамилией [4].

Псевдоним был выбран автором поэт не случайно. Контаминация *Игорь-Северянин* очень точно отражает истоки творчества, искания

счастья и гармонии в противоречивом мире. Любовь к северной природе, вошедшую в сердце Игоря Лотарёва, детские годы которого протекали среди лесов и рек Новгородской губернии, ничто так и не смогло охладить – ни “улад столичных демон”, ни “ненужье вынуждающей нужды”, ни случайная эмиграция. “Человек с Севера”, несущий гордое варяжское имя *Игорь*, воспринимал эти слова-понятия как две ипостаси неразделимого целого, и именно дефис в *осознанно выбранном* автором псевдониме и должен был уравнивать, подчеркнуть смысловое, с народно-обывательской точки зрения, тождество слов *Игорь* и *Северянин*.

Таким образом, дефис в псевдониме *Игорь-Северянин* выступает значимым символом, важным знаком, несущим огромную лингвокультурологическую информацию. Однако в теории литературы и литературной критике проблема авторского дефиса отпала сама собой – фантастически быстро и легкомысленно просто. В настоящее время приняты написания *Игорь Северянин* и (в большинстве случаев) *И. Северянин*, что имеет историческую подоплеку. Существительное-приложение к имени собственному воспринималось и писателями-современниками, и критиками, и редакторами книгоиздательств [5] как фамилия-псевдоним на *-ин* (типа *Москвин*), что и привело к “отмиранию” дефиса, к забвению его функциональной роли. Многие современные зарубежные исследователи творчества Игоря-Северянина также воспринимают вторую часть псевдонима как фамилию.

Так что же важнее – воля автора, который до конца своих дней не расставался с неизменным дефисом в изгибистом росчерке слова, стоящего в конце писем и литературных произведений [6], который изо всех сил выбивался, чтобы отстоять “право на жизнь” собственного псевдонима не только в текстах, но и на обложках книг [7], или коллективное, массовое сознание, подготовившее неправильное восприятие псевдонима последующими поколениями читателей и критиков? Для нас неприемлем иной ответ: то, что ведет к восстановлению исторической справедливости, оправданно и закономерно. На наш взгляд имеет право на существование лишь единственный вариант написания псевдонима, который поддерживается *всеми* автографами поэта и требует возвращения своего законного статуса. И поэтому на титульном листе, к сожалению, только перспективного полного собрания сочинений феноменального поэта, чье имя было незаслуженно опошлено и забыто, должно значиться одно-единственное “смелое имя” – *Игорь-Северянин*.

---

*Литература*

1. *Тальников Д.* Недоразумение в стихах // Современный мир. 1914. № 6.
2. *Игорь-Северянин.* Стихотворения для книги “Ананасы в шампанском”. 1903–1913 (22 л.) // ОР РГБ, ф. 190 (кн-во Мусагет), картон 58, ед. хр. 3 (автограф; автограф с правкой).
3. *Игорь-Северянин.* Памяти А.М. Жемчужникова Листок. СПб., 1908.
4. *Игорь-Северянин.* Уснувшие вёсны. Критика. Мемуары. Скитания. 1931 (200 л.) // РГАЛИ, ф. 1152 (Северянин), оп. 1, ед. хр. 13; *Харджиев Н.* Маяковский и Игорь Северянин // Russian Literature. Amsterdam, 1978, vol. 6, № 4. P. 307–346; *Северянин И.* Стихотворения / Сост., вступит. ст. и прим. В.А. Кошелева. М., 1988.
5. Критика о творчестве Игоря Северянина. М., 1916.
6. РГАЛИ, ф. 1152, оп. 1, ед. хр. 1, 2, 3, 10, 13 и др.
7. *Игорь-Северянин.* Crème des Violettes. Избранные поэты. Юрьев, 1919; *Игорь-Северянин.* Pühajõgi. Эстляндские поэты. Юрьев – Тарту, 1919; *Игорь-Северянин.* Колокола собора чувств. Автобиографический роман в 3-х ч. Юрьев – Tartu, 1925; *Игорь-Северянин.* Падучая стремнина. Роман в 2-х ч. Berlin, 1922; Поэты Эстонии. Антология за сто лет (1803–1902 гг.) Переводы Игоря-Северянина. Юрьев (Тарту), 1928.

*Имена в русской литературе*

## Иван

© Л.И. ЗУБКОВА,  
кандидат филологических наук

Войдя в русский язык в церковной форме *Иоанн*, это имя в живом русском языке для повседневного употребления приобрело вариант *Иван*, который в дальнейшем закрепился в литературном языке. Назвать имя *Иван* русским мы с уверенностью можем, потому что оно прошло все ступени адаптации иноязычного слова. Соглашаясь с М.В. Горбаневским, можно утверждать, что, во-первых, оно вошло в фонетическую систему русского языка и произносится по ее правилам; во-вторых, оно полностью вошло в грамматическую систему; в-третьих, уже на русской почве оно послужило основой для целого ряда производных слов, отчеств и фамилий [1. С. 24]. Его популярность на Руси объясняется не только общественным вкусом и семейными традициями, но и тем, что оно в полных святцах встречается 170 раз, т.е. почти через день.

Насколько популярно имя *Иван* среди носителей русского языка второй половины XX века и какие ассоциации оно вызывает в сознании русских людей, можно узнать из произведений Федора Абрамова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина и Василия Шукшина. Их творчество обращает нас к незыблемым национальным основам русского народа, в том числе к традициям именования. Имя *Иван* отмечается в повестях, романах, рассказах и очерках этих писателей.

Имя *Иоанн* сохранило свое использование только в церковном обиходе, например: “Господи, как она радовалась, когда батюшка Иоанн Кронштадтский ее сына отличил, какой свет в душу ей хлынул, когда Ваню взяли в монастырское училище...” (Абрамов. Чистая книга).

В анализируемом материале встречаются и другие формы имени *Иван*: *Ванечка* – “Спишь? – живо заговорил Наум. – Эхха! Эдак, Ванечка, можно все царство небесное проспять. Здравствуйте” (Шукшин. Волки); *Ванёк* – “Это что, его в лагерь-то закатали из-за своей дурости? Да уж знаю... – Егорша поплескал в лицо водой из ушата и убежденно сказал: – Нет, это не поп. Такой же Ванёк пекашинский, как все прочие. Только мозга еще больше набекрень” (Абрамов. Пряслины); *Ванька* – «Илюха Сохатый, мой одноклассник, крупный, носатый парень, заступаясь за племянша, посулил созвать старшего братана Ваньку и дать мне “пару”» (Астафьев. Бабушкин праздник); *Ванюха* у Ф. Абрамова в трилогии “Пряслины” используется как символ бесшабашного простого человека – “А тут откуда ни возьмись – солдат, под окошком топает. Разудалый такой Ванюха-хват, с царской службы домой пробирается”; *Ванюша* – “Ванька!.. Поставь бутылку на место, поставь Ванюша. Я же вас на понт беру!” (Шукшин. Танцующий Шива); *Ванюшенька* – “Ванюшенька, родимый, – зашептала она вслух, глотая слезы. – Научи ты меня, как мне жить...” (Абрамов. Пряслины); *Ваня* – “Всех собак Воронцов приказал посадить на цепи, и посадили – после того как участковый Ваня Суслов, молодецкий веселый парень из пограничников, едва не половину их пострелял” (Распутин. Прощание с Матёрой); *Ванятка*, *Ванюшка* – “Ванятка недоверчиво покосился на Лукашина, затем перевел взгляд на Митеньку: так ли, мол, не обманывают ли его? – Не сумлевайся, Ванюшка. Истинно, – всерьез подтвердил Митенька” (Абрамов. Пряслины); *Иванушка* – “Ну, спасибо тебе, Иванушка, можно сказать, от смерти спас. А грабителей-то ты что, действительно не знаешь?” (Абрамов. Чистая книга) и др.

Имя *Иван* в приведенных примерах обозначает разных людей. Оно уже на русской почве приобрело различные оттенки, как положительные, так и отрицательные, и культурная обусловленность эмоционально-оценочных суждений в отношении данного имени не вызывает сомнений.

Произнося имя *Иван*, мы связываем его носителя с русской культурой, а, например *Джон* говорит о принадлежности к английской антро-

понимической системе и, соответственно, его носитель *John* – не русский, а иностранец. Для англичанина *John* – совсем не то, что для русского; в то же время имя *Ivan* в английском языке лишено всего того, чем окружено в русском языке имя *Иван*, его уменьшительно-ласкательные варианты и производный от него антропоним *Иванов* – *На Ивановых вся Россия держится; Иван да Марья*. “В англоязычной среде имя *Ivan* имеет негативную окраску и ассоциируется с единственным известным в этой среде историзмом *Ivan the Terrible* – Иван Грозный” [2. С. 48].

С именем *Иван* в русском национальном сознании связаны, например, образы *Ивана-царевича*, *Ивана-крестьянского сына*, *Ивана-купеческого сына*. Сказочный *Иван* – это всегда определенный тип героя, обладающий рядом обязательных черт. Если герой именуется, например, *Иваном-царевичем*, то он – носитель высоких нравственных качеств, борец за торжество добра и справедливости. *Иван-крестьянский сын* и *Иван-купеческий сын* как представители своих социальных слоев способны замещать *Ивана-царевича*. Они совершают подвиги, молодцы, умны.

Как любое имя-символ, *Иван* обросло устойчиво закрепленными оттенками. Его положительная коннотация актуализируется в речи носителей языка: “Говорят, если найдешь цветок папоротника – невидимкой станешь, можешь забрать все богатства у богатых и отдать их бедным, выкрасть у Кощея Бессмертного Василису Прекрасную и вернуть ее Иванушке, можешь даже пробраться на кладбище и оживить свою родную мать” (Астафьев. Далекая и близкая сказка); “Это я, упрямый, чалдон, фэзэошник – уркаган, рванул к тетке в гости. Наперекор стихиям. Молодецкой грудью на преграды. Непобедимый! Герой! Иван-царевич! Дерьмо собачье” (Астафьев. Где-то гремит война).

Образ *Иванушки-дурачка* образует основу сравнения: “Стоит Панька на насыпи, как Иванушко-дурачок стоит. Кругом темень собирается, солнце уже село, вода внизу ярится (вышла река из берегов!) – взрослому не по себе. А он стоит, как к земле прилип” (Абрамов. Пролетали лебеди).

В.И. Даль отмечал: “Вообще, Иван простак и добряк” [3. С. 5]. Восприятие данного имени с дифференциальными признаками доброты отмечается у Ф. Абрамова: “Дети были жестокие: Савва, даже Агния – в отца. А этот – Иванушко-дурачок из сказки. Ласковый” (Чистая книга).

Образ *Иванушки-дурачка* перешел в символ, стал олицетворением другого качества – лени, нерасторопности, что наложило отпечаток на восприятие этого имени, которое может иметь и отрицательную коннотацию, несмотря на широкое его распространение. Указанная оценка имени в народной сказке порождает соответствующую эмоциональную реакцию людей на бытовом уровне: “Ванька! – кричала жена На-

стя. – Где это ты их видел нынче, Ванек-то? Они только в сказках остались – Вани-дурачки” (Шукшин. Брат мой). Однако, когда Иван, придя в дом Девятовых, посоветовал супругам дать имя в честь деда, он услышал: “Да они оба Иваны! – воскликнул Василий. – В том-то и дело”. Аналогичная реакция, связанная с именем, прослеживается и в других произведениях: “Ты думаешь, приобрела себе в мужья Ваньку с трудностями? Эта голова, – приподняв пилотку, я звонко постучал по ней, – способна только военный убор носить?” (Астафьев. Веселый солдат); “Во-первых, оденься как следует. Куда ты такой... Ванька с Пресни, завявшись. – Начальник недовольно оглядел Егора” (Шукшин. Калина красная). Категория символа указывает на выход образа за собственные пределы, на присутствие определенного смысла, который неразрывно связан, слит с этим образом.

В имени *Ванька* реализуется признак “человек из народа”: “Ну какая только тварь не командует и не распоряжается в тылу, – заговорил пожилой солдат с завязанным ухом. – А на передовой один главнокомандующий – Ванька взводный” (Астафьев. Веселый солдат), а *Ваня* может обозначать “недалекого человека”, “доверчивого простака” – “Макар посмеялся кротко, снисходительно, ласково. Он знал драчливый характер Ивана. – Ах пошуметь бы?... Ах бы да сейчас развоеваться бы?... Это ты Ваня и есть” (Шукшин. Непротивленец Макар Жеребцов). Здесь присутствует ономастический каламбур: человек с именем *Ваня* характеризуется омонимичным коннотативным антропонимом, имеющим эмоционально-оценочный компонент.

Имя *Иван* используется в устойчивых сочетаниях – *Эх, ты, Ваня!*, *Ванек ты!*, *Иваны, не помнящие родства* – которые содержат отрицательную эмоциональную оценку. Просторечный вариант выражения *валять дурака* – *валять Ваньку*, то есть притворяться глупым, потешать глупыми выходками: “Только тронь! – предупредил дядя Володя, отскакивая, и закричал: – А ты не видал? Ты там не видал? Ты не знал? Чего ты ваньку валяешь?” (Распутин. Век живи – век люби); “Что ты дурачка-то из себя строишь? Ты же не на следствии пока. Перед следователем потом валяй ваньку, а перед нами нечего...” (Шукшин. А поутру они проснулись...). Фразеологизм возник от детской забавы с игрушкой-неваляшкой, обычно представляющей собой ваньку-встаньку, которого пытались повалить. Первое из отмеченных значений развилось под впечатлением несуразности такого занятия для взрослого [4. С. 50]. Фразеологизм *во всю ивановскую* “очень громко (храпеть, кричать и т.п.)”: “Степан храпел во всю ивановскую” (Шукшин. Любавины). Это выражение происходит от *звонить во всю Ивановскую* [5. С. 177].

Имя *Иван* вошло и в названия растений, например, *иван-да-марья*, *иван-чай*, *ванька-мокрый*: “На узком барачном окошечке мучаются два бескровных цветка – ванька-мокрый и еще не знаю какой” (Астафьев. Без приюта).

В силу повсеместной распространенности имени *Иван* на территории России, о чем писали многие, оно со временем стало восприниматься носителями языка как знак национальной принадлежности: “Поскольку многие из контуженных были взяты с передовой в беспамятстве и оставили там, на поле боя, все, в том числе и свое имя, мы их всех подряд звали Иванами” (Астафьев. Звездопад). Форма множественного числа личного имени собственного обычно противоречит его основной функции – индивидуализировать, выделять лицо. Однако индивидуализация здесь происходит на национальном уровне. Форма множественного числа помогает подчеркнуть, что имя является средством типизации определенных качеств, в данном случае – принадлежности к русской языковой общности.

Имя *Иван* национально маркировано, оно воспринимается как типично русское представителями других этносов: «Я весело и беспечно травил про войну: – И вот кричат фрицы нам: “Еван! А Еван! Переходи к нам! У нас шестьсот грамм хлеба дают!” – “А пошел ты”, – отвечают ему наши. Ну, ты знаешь, куда пошел?..» (Астафьев. Звездопад).

Совокупность ассоциаций на имя *Иван* образовало ассоциативное поле, которое воплощает взаимодействие языковых и экстралингвистических факторов и преломляет их через призму выработанной в обществе системы оценок во взаимодействии с индивидуальным опытом.

### *Литература*

1. Горбаневский М.В. Иван да Марья. Рассказы о русских именах, отчествах, фамилиях, прозвищах, псевдонимах. М., 1987.
2. Томахин Г.Д. Лексика с культурным компонентом значения // Иностранные языки в школе. 1980. № 6.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. II.
4. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. М., 1987.
5. Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русской фразеологии: Лингвострановедческий словарь // Рус. яз. в школе. 1979. № 1.

## Мифические “такие места”

© Н. А. КРИНИЧНАЯ,

доктор филологических наук

В быличках, бывальщинах, поверьях человек часто попадает в *такие места*, заблудившись в лесу, как бы случайно, хотя случай в мифологии и есть предначертание судьбы. Предпосылкой подобной кризисной ситуации служит и нарушение одного из “лесных” запретов: например, женщина всуе упомянула имя лешего, да еще “два раза” [1. 151. № 36]. И вот привычная картина леса сменяется совершенно незнакомой: “Птичка даже не пела, никакая птичка не пела. А *места такие* (курсив здесь и далее наш. – Н.К.), что у нас тут вблизи нету. Не было *таких местов*, показалось. *Поженки* такие чистенькие, хорошенькие ... Вот озеро-то, – говорит, – совсем не было” [1. 192. № 153]. Или: “А *место такое* – у нас *таких* нет. Дорога широкая, и деревья – стволы гладкие. Нет у нас *такого места*. Не знаю, что *такое*” [1. 178. № 265]. Или: “А *места* всё *не такие*. *Такие* места стоят – всё *не такие*. Хожу-хожу. Ну, всё *не такой* лес. Ну, что теперь мне делать? Вроде как уехала куда-то. Со всем не похоже. Вроде озеро такое хорошее, ясное. Погода такая, солнце пекёт. <...> Ну, думаю, теперь я не в порядке” [1. 151. № 36].

*Такие*, равно как и *не такие, места* осмысляются как иной, чужой, потусторонний мир: в мифологическом сознании эти понятия не дифференцированы. Топография иного мира не совпадает с рельефом здешнего, своего пространства. По некоторым рассказам, *тот* мир беззвучен и безмолвен. В нем даже не поют птицы. *Такие места* находятся где-то рядом с миром живых людей: “от деревни недалече”; извне сюда доносятся шум и голоса; тропинка, которая “прямо в деревню идет”, как потом выясняется, находится совсем рядом. Но это достаточно изолированное пространство. И выйти отсюда человеку не просто. А если он и предпримет подобную попытку, то кружит, трижды возвращаясь на это же место.

*Место* в народных говорах, как и в древнерусском языке, обозначает не только “ограниченную часть пространства”, но и “пору, время” [2. С. 370; 3], а также “определенный момент, в который происходит что-нибудь” [4]. Например, человек, пришедший на *тако место в такой-то день и в тако-то время* [1. 184. № 61], может оказаться очевидцем текущего здесь инобытия. В одной из бывальщин до него внезапно доносятся звуки колокольчиков (“звонит один за другим”). Незнакомец, повстречавшийся в лесу, объясняет: “Наши-те ребята на бесёду поеха-

ли”, что никак не вписывается в реалии *этого* мира: “Да какò на бесёду? Какò тут бесёда?” [1. 135. № 1]. В другой бывальщине, оказавшись в назначенный день в назначенном месте, парень видит свадьбу запретельных обитателей, происходящую у пня [1. 184. № 61]: под ним, согласно народным верованиям, нередко располагается “иное жительство”, похожее на *наше* [1. 91. № 416]. Потусторонняя свадьба обычно описывается в акустических параметрах: подъезжая *к этому месту*, люди слышат шум, в котором различимы лай собак, звуки гармони, веселая песня и плач с причитанием [5]. Случается, что, находясь в лесу, человек становится невольным тайнозрителем и некой похоронной процессии, проходящей мимо молча и отрешенно, не замечая его, что является знаком потусторонности этого действия. Подобные рассказы служат как бы наглядной иллюстрацией того, что переходные обряды и *здесь* и *там* исполняются одинаково – на грани миров.

Во многих бывальщинах несанкционированное вторжение людей в иной мир нарушает правильный ход протекающей там жизни. Так, проезжая, казалось бы, по реальной лесной дороге, мужик попадает *в это место* и, как впоследствии выясняется, наезжает сверху на “родильницу”, которую в параллельном мире вели в данный момент из “байны” [1. 136. № 27].

Нерегламентированное поведение людей в лесу, нарушение запретов и установлений привносит во взаимодействие миров хаос, что влечет за собой болезнь и смерть виновников. В одной из бывальщин молодые (“они были первый год только поженивши”), находясь на сенокосе, “проказили друг с другом, или что там, может, сделали”. Последствия не заставили себя долго ждать: «Он как с *этого местечка* пришел домой и заболел. <...> И во сне ему показалось: “А каково, – говорит, – мне смотреть, как у меня ребенок без ног лежит. И до чего с ума сошли, ошалели, так даже у ребенка ноги сломали”. И он так и не поправился, так вот и умер. Недель шесть только болел. Из-за *этого места* умер» [1. 136. № 67].

Однако на *это место* мифический “хозяин” может вывести/вынести из лесу, приравняваемого к иному миру, заблудившегося человека либо пропавшее животное. Согласно одной из бывальщин, “вот в *такое время*, какое колдун сделает”, леший принесет на *это место* потерявшуюся девочку. И действительно, как только ее “там” отпустили, она “здесь” и “образовалась” [1. 192. № 62]. Причем зачастую похищенного приносят на *то место*, где он и потерялся [1. 141. № 112]. Аналогичная коллизия наблюдается и в мифологических рассказах, повествующих о пропавшей в лесу скотине. “Если взял – приведи *к месту*, на котором взял”, – говорит колдун лешему [1. 6. № 85]. Круг замыкается – и ситуация возвращается к исходному состоянию в том месте, где миры в какой-то момент оказываются взаимопроницаемыми.

Подобный круг проявляется и в коллизии, определяемой варьирующей семантической формулой: “ходим-ходим – да к этому месту и придем” [1. 129. № 57]; “ходили-ходили и опять на тое место пришли” [1. 129. № 2]; “куда ни пойдет, все на одно место выходит” [1. 187. № 168]. Сюда заблудившиеся в пространствах, концентрически заключенных друг в друге, возвращаются несколько раз (чаще – трижды).

Своего рода центром *этого места* служит магическое дерево: «Опять идем по этой тропины опять к лесини. Другой-то раз пришли, прошли. Об эту осину-то идем и не замечаем, что тут у нас это были. Опять прошли, *кру́га* дали <...>. Пришли к этой, к осины-то, пришли, а он (брат) и говорит: “Таня, у этой осины-то мы ведь складывали рыжики-то”. <...>. Шли-шли-шли, ведь опять к той же осины пришли! К той же осины пришли!» [1. 133. № 88]. Еще чаще блуждающие приходят к одной и той же сосне [1. 102. № 66]. Вместо дерева в подобной коллизии может фигурировать и пеня: «Шли-шли-шли, пришли, *пень такой большой, широкой*. Ну и Ондрей не знат, куда идти. Он был постарше меня. Вернулись, опять пошли. Походили-походили – опять к тому пню пришли. Ну и я вижу, что тут что-то неладно <...>. В леву сторону пошли. Походили – опять ко пню пришли. Потом я говорю: “Ондрюшка, ты чего *кружиссе-то*, третий раз ко пню пришли!”» [1. 93. № 94].

В мифологических рассказах ярко передано психологическое состояние людей, которые, стремясь “попасть на дорогу”, ходят-ходят, идут сами не знают куда, вертятся туда-сюда, кружат по лесу и всё оказываются на одном и том же месте (варианты: у того же дерева, у того же пня) [1. 102. № 66; 126. № 2; 129. № 2]. Несмотря на неопределенность координат *этого места* в лесном пространстве, оно нередко имеет один устойчивый признак: “Откуда пошли, туда и пришли” [1. 129. № 57]. И опять-таки круг как бы замыкается. И потому, даже придя на место, где начался их путь в глубины леса, блуждающие не могут выйти за его пределы, а значит, и найти дорогу домой. Причина хотя и завуалирована, но все же на основе анализа мифологических рассказов проясняется.

*Такое место круглое, такой кружок, такая кружайка* наделяются особого рода семантической значимостью: “<...> а такое место круглое, ну, в ту сторону пять метров и в другу пять метров, ну так, в общем, метров десять только *такой кружок*” [1. 140. № 250]. Это круглое место обычно отмечено почитаемым деревом – чаще всего сосной [1. 201. № 58]. Попав на *такое место*, ни человек, ни животное не может выбраться за его пределы: “Стал меня леший *по одному кругу водить* – и из лесу [не] выйти никак” [1. 187. № 4]. Пребывание домашних животных в *кружайке* в одной описывается с особой выразительностью: «Дак у их, у бедных, все корни съидены. И не то трава, дак корни выгрызены. А кругом трава не дотронута. Я, говорит, стою и думаю: “<...> Огороду

[изгороди] нет, не обгорождо, ничего, а поросята *в кружайке в одной* всё выгрызли, и трава [рядом] не дотронута» [1. 140. № 250]. И опять-таки центром *круглого места* служит дерево, и прежде всего сосна: “<...> и сосна стоит в лесу, и окол сосны, может, метров семь, может, десять, *кругом сосны*, все съедено, чёрна одна земля <...>. *Туда кругом* опять-таки есть и трава, есть и всё, но только *до того места*” [1. 201. № 58].

Находясь *в таком кружке*, животное оказывается закрытой, т.е. незримой, недоступной ни человеку, ни дикому зверю. Когда скотина *закрыта*, то медведь может ходить рядом с коровами и лошадьми и не видеть их, а те, в свою очередь, “не толкуют”, что медведь здесь ходит. Хозяева же сто раз обойдут *это место*, а своего коня или коровы не найдут [1. 131. № 52]: “Вот мимо ходишь, а не найти и все” [6. № 4. С. 190]. И когда животное все же удаётся *открыть*, оно действительно обнаруживается на этом месте, под деревом. Так, в одной из бывальщин коня, *закрывшегося* в лесу, проискали всю осень, пока мать не сказала: “Пойду последний раз и больше ходить не буду, раз Бурко не показывается”. И тогда выяснилось, что Бурко рядом под лесиной стоит [1. 109. № 79]. Подобная часть леса, качественно разнородная по сравнению с окружающим пространством, приравнивается в мифологическом сознании к потустороннему миру, у которого якобы есть свой *порог* [1. 178. № 265], переступить через который можно лишь посредством ритуала. Дереву же в этом сюжете отводится роль мирового древа, соединяющего миры.

В этом свете становится понятным, что блуждающие по лесу, вернувшись к исходной точке, все еще не возвратились “сюда”, в мир живых людей, продолжая пребывать “там”. И лишь переодев на другую сторону одежду, они преодолевают кризисную ситуацию. В отношении же домашних животных в аналогичных случаях используется обряд *открывания* или *отворачивания* [7], близкий в плане семантики обряду переодевания. Поскольку в “том” мире все наоборот, то перевернутость одежды наизнанку символизирует “передислокацию” на противоположную сторону. Теперь все встает на свои места: “Пошли как век бывали. <...> тут и блудить-то негде” [1. 129. № 57]. Или: “Когда мы пошли *с этого места*, шли-шли-шли, немного и прошли – вдруг нам открывается деревня, и трасса, и вагоны, и паровозы, и всё” [1. 129. № 2]. Хаос преодолен. Во взаимодействии миров восстанавливается равновесие и гармония. Блуждающие рассмеялись – и “там” вдруг некто рассмеялся со словами: “Нашли дорогу!” [1. 129. № 57].

В других мифологических рассказах *в этом месте* колдун встречается с лешим. Впрочем, здесь последний появляется и сам по себе, нередко в облике местного мужика, который, как потом выясняется, никак не мог быть тогда в лесу, поскольку “у него уехано было на рыбалку” [1. 23. № 297].

*Это место*, согласно быличкам и бывальщинам, актуализируется и при договоре охотника с лешим. Со “стариком”, прогоняющим мимо “сосны этой” стадо лисиц, мужик договаривается о размере ожидаемой добычи, о месте и времени предстоящего промысла: «“<...> а тебе через неделю на *этом месте* двух [лисиц] уже дам – приходи!” – отвечал старик. <...>. Через неделю мужик приходит опять на *это место* и смотрит: прибегает лисица – он выстрелил в нее. Не успел этой пододбать, смотрит: другая прибежала – он и эту убил» [8].

В рассматриваемой семантической ситуации мифологический смысл приобретает и словосочетания: *до этого места, до такого места*. Ими в быличках, бывальщинах, поверьях обозначается та незримая граница, за черту которой человек, заключивший договор с лешим, ни при каких обстоятельствах не должен переступать. Этот запрет распространяется прежде всего на пастуха, действуя в течение всего пастбищного сезона: “Вот *до такого места* коров прогони, да и назад воротись, и не ходи больше в лес ...” [9]. Соответственно оговариваются и условия выгона скота из лесу: “Вот ты вот тут не переступай больше дальше. Вот *до этого места* ходи, а к *этому месту* коровы пригнаты” [6. № 4. С. 190]. Несмотря на то, что подобная граница невидима, ее требуется безукоснительно соблюдать: “Ты вот ходи в лес, ходи, а вот только дойдешь *до этого места*, а вот дальше ни шагу не перешагивай. Чтобы шаг, ни шагу не было”. Имеется и мотивировка запрета, данная лешим: “А то тут ты переходишь – тут *через замки* переходишь” [6. № 3. С. 189]. Предполагается, что, нарушая замки, человек, сам того не ведая, “размыкает” миры.

В мифологических рассказах запрет не только обосновывается, он так или иначе нарушается, без чего не было бы развития сюжета, а значит, и самого рассказа. Причины, по которым пастух нарушает запрет, носят бытовой характер: напился пьян, не дождался коров (“а уже поздно было”); проявил излишнее любопытство: кто же пасет скот и собирает его в стадо, прежде чем отправить из лесу домой, и т.п. Степень нарушения границы также может быть разной: лишь на один шаг; “*до того места*, где коровы едят траву” [9]; выходит навстречу стаду, и т.д. Каждой из этих причин, как и любого пересечения границы, оказывается достаточно, чтобы был нарушен запрет: “встречать скотину в лесу нельзя” [1. 159. № 176]. По вине пастуха расторгается и договор с лесными “хозяевами” в целом, согласно которому мифические покровители взяли на себя обязательство в течение всего лета “кормить и караулить” скот, а “вечером домой гнать” [1. 150. № 17], сопроводив стадо *до такого места*, где его должен принять уже пастух. За нарушение запрета последний лишается не только благодетельного участия со стороны духа-“хозяина”. За свой проступок он подчас расплачивается жизнью.

На основе сказанного можно утверждать, что *тако* (*эко, это, тое*) место – мифическая часть лесного пространства, представляющая собой запредельный мир. Эта часть, с одной стороны, противопоставлена миру живых людей, а с другой, – находится в сложном и неоднозначном взаимодействии с ним. В этом месте сосредоточены начала и концы сущего, которыми определяются основы крестьянского бытия. Оно благотворно при соблюдении правил коммуникаций и губительно при нарушении ритуально-этикетных норм взаимодействия между мирами. Характерно, что в своем трансформированном виде подобные представления вошли и в библейскую традицию: “И убоялся [Иаков], и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные!” (Быт. 28. 17).

### Литература

1. Архив Карельского научного центра Российской академии наук. Первая цифра обозначает номер коллекции, вторая – порядковый номер текста в ней.
2. *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. II.
3. Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1982. Вып. 9. С. 116–117.
4. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1996. Вып. 3. С. 229.
5. *П.М.* Этнографические материалы: Из быта и верований карел Олонецкой губернии // Олонецкие губернские ведомости. 1892. № 77. С. 808.
6. *Рейли М.В.* Былички и поверья об “отпуске” пастуха (По материалам Архангельской области) // Русский фольклор. Л., 1989. Т. 25.
7. *Криничная Н.А.* Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов. СПб., 2001. Т. 1. С. 394–399, 413, 422–423.
8. *Минорский П.* Из мира народных поверий жителей Вытегорского уезда (Народные рассказы) // Олонецкий сборник. Петрозаводск, 1875–1876. Вып. 1. Отд. 2. С. 42–43.
9. *Ефименко П.* Демонология жителей Архангельской губернии // Памятная книжка Архангельской губернии на 1864 год. Архангельск, 1864. С. 52–53.

## “Гуси серые”

### Образы птиц и ветра в причитаниях на Вологодчине

© Е. Ф. ЮГАЙ

Плачи по умершим – древняя фольклорная форма, которая присутствовала практически у всех народов. На протяжении их существования музыкальный и образный строй произведений и их объем значительно изменялись. В памяти жительниц Вологодской области плачи или их фрагменты сохраняются до сих пор. В основном удается записать отдельные мотивы – сетование на невозможность встречи, передача весточки умершим ранее родственникам и знакомым.

Вместе с тем, среди часто вспоминаемых формул – обращение к стихиям, где, наряду с ветром, песком, землей, встречается словосочетание “гуси серые”. Это обращение, неожиданное в ряду природных явлений, имеет древние корни. А для современного восприятия (в том числе самих носительниц текстов) является поэтическим образом, открывающим новые художественные стороны произведения.

В поминальных плачах обычно плачя просит “ветры буйные”, “пески желтые” послушаться ее желания и помочь вернуть умершего, после чего следует сетование на себя, забывшую, что “с того свету белого” нет возврата. В числе одушевленных стихий встречаются и птицы. Создательница самого полного на сегодняшний день собрания вологодских причитаний Б.Б. Ефименкова отмечает, что обращение к гусям присутствует в причитаниях, собранных в районах Кокшенги, Уфтоги (левый приток Сухоны) и прилегающей части Сухоны.

В наиболее полных текстах поминальных причетов обращение к гусям следует перед обращением к туче, т.е. первым. Например:

О-ё-ёй, да налетите, серы гуси,  
О-ё-ёй, да распорхнитесь, жёлты пески!  
О-ё-ёй, да накатись, да туча грозная! ... [1. С. 151].

Фрагмент с гусями бывает более распространенным и сюжетным, чем фрагменты с тучей и песком. Уточняется, как, откуда прилетают птицы (“Из-за морюшка си... ой ...инего да/Прилетите, серы... ой ...и гуси, да” [1. С. 155]), как они садятся сначала на церковь, потом спускаются ниже, на “круту могилушку”. Не в таком развернутом виде этот рассказ сохраняется и сейчас, что подтверждается материалами, собранными Вологодской школой традиционной народной культуры.

Внесение образа птиц меняет саму структуру обращения: гуси занимают место не просто в ряду других стихий, а становятся посредниками между человеком и природой, к которой он обращается:

Да розгребите серы ...гуси,  
Да желтые-то песо...чики,  
Да серые камешо...о...чики [2. Касс. 552].

Здесь гуси становятся силой, приводящей в движение “недвижимые” объекты. Не сами по себе развеиваются пески земли, не сами разбиваются гробовые доски, а как бы одушевленные серыми гусями, как будто эти птицы и есть души предметов и стихий.

В некоторых случаях структура обращения еще более сложная. Плачя просят “серых гусей” развеять могилу, а гром – разбить гробовую доску.

Прилетите серы гуси,  
Розгребите, распорхайте,  
Вы крутую могилушку,  
Дуньте, громы-те сильные,  
Розбейте гробову-ту доску,  
Да дуньте ветры-те буйные,  
Сдуйте с лица полотёнышко... [2. Касс. 150]

Причем в приведенной цитате к грому обращаются с глаголом, обычно адресованным ветру, что свидетельствует об однородности образов стихий в ряду обращений.

Обращение к гусям и к ветрам могут следовать друг за другом, причем каждому будет соответствовать определенное действие:

Как часока да тепере  
Прилетите-то, гуси серые, да  
Розгребите пески желтые  
На крутые да могилушки  
У моего чады милого да  
Дуньте-то ветры восточные  
Росшибите гробову доску, да... [2. Касс. 141]

Таким образом, здесь гуси, туча и ветры представлены как самостоятельная сила, а пески, камни, доска – как объект ее действия. Нетрудно заметить, что первые суть от неба, вторые – от земли. Туча и ветер непредметны, они движение, дыхание, душа, как и птицы, с точки зрения символики. При этом их материальность ощутима: обычно молния должна именно расколоть доску, ветер – сдуть полотенце с лица умершего, гуси – по камешку рассеять землю.

Связь птицы и стихий не случайна. А.Н. Афанасьев упоминает, что птица – “мифический образ ветра” в связи с тем, что “в феврале месяце нечистые вылетают из ада в виде ветра” [3]. При этом происходит уподобление по признаку скорости: стремительность и лёт объединяют ветер с птицей. Правда, обыкновенно буре и вихрям уподоблялись хищные птицы.

Обращает на себя внимание власть гусей вернуть умершего, пусть этого и не происходит. Пролет гусей служит маркером смены сезонов, а лето и зима – одна из трансформаций оппозиции жизнь – смерть. Возможно, именно с этим связана амбивалентная роль гусей в сказках (перемещение протагониста в мир мертвых к Бабе-Яге и возвращение его в мир живых), значимость гусей-лебедей в обрядовом фольклоре. Способность этих птиц быть вестниками и умирания, и воскресения природы побуждает осиротевших людей обращаться к ним с просьбой о возвращении близких.

Важность образа “гуся-лебедя” в мифопоэтическом восприятии мира подтверждается и частотностью образа в фольклорных текстах разных жанров, и устойчивостью мотива птицы в вышивке, керамике, резьбе, и древностью (образ водоплавающей птицы зафиксирован в петроглифах Онежского озера и побережья Белого моря [4]). Млечный Путь – мифологическая дорога в загробный мир – у многих народов носит названия “лебединой” (тюрки, угрофины, чуваша, греки), “гусиной дороги”.

Гусь в некоторых традициях олицетворяет мировой хаос, кроме того, это древнейший солярный знак, а в легендах о сотворении мира часто выступает в роли сотворца и антагониста Бога: достает землю со дна мирового океана, утаивает часть за щекой и, соперничая с демиургом, творит другую землю, в противовес основной, холодную и мертвую. В свою очередь ветер “в народных представлениях наделяется свойствами демонического существа” [5], обитает в далеких местах, например, “за морем”. Отождествление гусей и ветра закономерно.

Подобно тому, как ветер материализуется в гусей, гром может заменяться камнем:

Да час теперьчатые...  
Накотиси перева...уш/и/ка  
Упади серой ка..о..мешок  
Да в гробовую дошке..о..чки  
Да на цетьре части..о..ночки  
На мелкие полови..о..ночки... [2. Касс. 552].

Особыми мифологическими свойствами наделяется т.н. “громовая стрела” – сплав, получившийся в результате удара молнии в песок [6]. А.Н. Афанасьев приводит многочисленные примеры уподобления грома (молнии) оружию: стрелам, мечу. Камень – древнейшая метафора в

этом ряду. В причётах нет контекста небесной битвы, предполагаемая гроза имеет отношение к сражению двух миров за умершего, но действующей (желающей) силой в ней оказывается человек. Не случайно словосочетание “серый камешек” может служить для обозначения и горя, тоски вообще:

Ой, отвалился бы у меня,  
Ой, стопудов серой камешок,  
Ой, от сердечка ретивого! [1. С. 91].

Играет роль и символика цвета. Как смешение всех хроматических цветов серый по семантике близок к бесцветному. Отсутствие качеств сродни безличности образа гусей. Воздуху и духам присуща невидимость, соотносимая с бесцветностью. Мировой хаос также лишен цвета, который есть следствие порядка и разделения. Смутность, неясность серого, его бесцветность при потенциальном включении в себя всех земных цветов соответствует тревоге и печали вестников хаоса.

В христианской символической значении серого цвета конкретнее, что дает новые ключи к пониманию образа. Как смешение белого, цвета невинности, и черного, цвета вины, серый цвет считается символом земной смерти и духовного бессмертия. Кроме того, это цвет пепла, который связан с похоронными обрядами. Пепел соотносим с прахом, поэтому серый – цвет праха, но и души, от него освободившейся.

Образ “серых гусей” переходит и в рекрутские причёты, более поздние по времени образования. В 2002 году в Бабушкинском районе Вологодской области были записаны тексты, в которых плачя обращается к гусям с вопросом или просьбой передать весточку.

– Вы серы гуси,  
Да летите с тоё сторонушки,  
Да где мой сын ясный сокол служит,  
Дак вы скажите-ко серые гуси,  
Дак от сына – ясна сокола,  
Дак вы скажите мне весточку  
Как мой сын там ясной сокол  
Службу в армии пронесит [2. Касс. 745]

– причитает мать, когда гуси летят из стороны, где служит ее сын. Если они летят в обратную сторону:

Понесите серы гуси  
Да сыну ясному соколу,  
Дак от меня горе горькёе,  
От меня молодёшенькой,  
Да понесите им весточку,

Да вы скажите сыну ясному соколу,  
Дак я жду своево да рожёного,  
Жду я каждый денёчек и ноченьку тёмную,  
И светлой денёчик... [2. Касс. 745].

В рекрутских причётах роль инобытия выполняет служба в армии, и гуси выступают как медиаторы, связывающие два мира. Способность возвращать оплакиваемого, слишком архаичная для более реалистичных рекрутских причётов, утрачивается, и гуси выступают в традиционной для всех птиц роли вестников.

Таким образом, связь с ветром в причётах обусловлена обращением к загробному миру, контактом с душами умерших. Обращение к стихиям выражает страх и преодоление его, одиночество среди людей и власть (попытку управления) по отношению к миру явлений, сменяющуюся осознанием своего бессилия и возвращением плачеи в мир живых.

Явившись из обозначения ветра, образ серых гусей в причитаниях, вбирая в себя и другие значения, является одним из самых запоминающихся. Для птицы, участвовавшей в создании мира, логично быть связанной с трагическими закономерностями мира, в частности с необратимостью смерти. Множественность образа создает впечатление безличности стихии и печали, а значит, невозможности ни уговорить, ни победить их.

### *Литература*

1. *Ефименкова Б.Б.* Севернорусская причесеть. М., 1980.
2. Архив "Школы традиционной народной культуры". Вологда. 1998–2008. Указ. номер кассеты.
3. *Афанасьев А.Н.* Мифы, поверья и суеверья славян: поэтические воззрения славян на природу. М., СПб., 2002. Т. 1. С. 324.
4. *Жарникова С.В.* Образы водоплавающей птицы в русской народной традиции (истоки и генезис) // *Культура Русского Севера: межвузовский сборник научных трудов.* Вологда, 1994. С. 114.
5. *Славянская мифология. Энциклопедический словарь.* М., 1995. С. 86.
6. *Славянские древности/под общ. ред. Н.И. Толстого.* М., 1995. Т. 1.

## Время в русской литературной сказке

© О. И. ЗВОРЫГИНА,

кандидат филологических наук

Литературная сказка, зародившаяся как жанр в XVIII веке, существует до сих пор. Изучая способы выражения времени в авторской сказке, мы выделили несколько лексических групп. Наиболее интересными и распространенными представляются следующие.

*Лексика с семантикой временной неопределенности.* Традиционные формулы, характеризующие время действия (“долго ли, коротко ли”, “скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается”), авторы литературных сказок вводят и в свои тексты (Курсив здесь и далее наш. – О.З.): “Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, – стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная...” [1]; “Долго ли, коротко ли, возвратился благополучно старичок на тот самый берег, где повстречался с мамушкой Варварушкой, где вдоль по озеру раскинулись зеленые широкие листья и белыми звездами по воде цвела одолень-трава” [2. С. 12]; “Много времени аль мало/С этой ночи пробежало – /Я про это ничего/Не слышал ни от кого” [3. С. 10].

*Лексика с семантикой длительности времени: давно, долго.* “Долго у моря ждал он ответа,/Не дождался, к старухе воротился...” [4. С. 343]; “Иван-царевич подошел к одному черту, который держал на плече пушку, и у него спросил: “Давно ли ты стоишь на страже?” [5. С. 85].

*Лексика, указывающая на конкретное время (или период)* характерна как для русской народной сказки, так и для авторской. Временная конкретика в большинстве своем ограничена цифрой *три*: “Он надел на ноги сапоги-самоходы, почему и поспел в *третий день* прийти к калиновому мосту” [5. С. 87]; “Так прожила Рукодельница у Мороза Ивановича *целые три дня*” [6. С. 155]; “Они жили в ветхой землянке/*Ровно тридцать лет и три года*” [4. С. 338].

Однако уже в начальный период формирования литературной сказки, в XVIII веке (см. тексты С. Друковцова, В. Лёвшина, И. Дмитриева) и далее, до сегодняшнего времени, появляется временная конкретика, не связанная с цифрой *три*: “Через *год* царица Дария родила еще одну дочь, которая красотой своею гораздо превосходила сестру свою, почему и назвали ее *Звездой*” [5. С. 80]; “Вот проходит *восемь дней*,/А от

войска нет вестей...” [4. С. 360]. В сказке Н.Д. Телешова “Крупеничка” указывается конкретный день: “Во время посева, 13 июня, в день гречишницы, в старину всякого странника, бывало, угощали кашей досыта” [2. С. 15]. Здесь временная точность мотивирована сюжетом.

*Лексика с семантикой времени суток.* В фольклорной сказке действие часто переносится на утреннее время и сопровождается поговоркой “утро вечера мудренее”. “Языковое обозначение времени суток в значительной степени определяется деятельностью, которая его наполняет” [7]. И в литературной сказке довольно часто действие происходит утром: «*Поутру*, лишь только что стало на дворе рассветать, то Ега-Баба начала его будить: “Вставай, добрый молодец, пора тебе в путь ехать”» [5. С. 82]; “*Правда, утром*, на трезвую голову, волшебник кое-что еще подклеил, подпилил...” [8].

Утро дарит ожидание чего-то нового и лучшего. Не случайно события сюжетной линии сказки П.П. Ершова “Конек-Горбунок”, связанные с Царь-девицей, происходят утром. Молодость, красота этой героини ассоциируются с чистотой и свежестью рассвета. Ивану удастся увести девицу именно утром: “На другой день, *поутру*,/К златошвейному шатру/Царь-девица подплывает...” [3. С. 39]. Утром же Иван проходит свое последнее испытание – купается в котлах: “На другой день, *утром рано*,/Разбудил конёк Ивана:/“Эй, хозяин, полно спать!/Время службу исправлять” [3. С. 61], – после чего женится на Царь-девице, и эта свадьба – счастливый финал всей сказки.

Выбор Ершовым утра для появления Царь-девицы объясним логикой самой сказки: Царь-девица – дочь Месяца (ассоциация – ночь) и сестра Солнца (ассоциация – день). Утро – промежуточное, переходное время между ночью и днем. Однако большая часть волшебных событий в этом тексте происходит именно ночью. Ночью Иван-дурак ловит кобылицу: “Вдруг о *полночь* конь заржал.../Караульщик наш привстал,/Посмотрел под рукавицу/И увидел кобылицу” [3. С. 8]. Ночью Иван находит перо Жар-птицы, ночью же ловит ее: “Вот *полночною порой* свет разлился над горой –/Будто полдни наступают:/Жары-птицы налетают...” [3. С. 29].

Лексическая вариантность выражения ночного времени суток в этой сказке самая богатая: *ночь, ночка, ноченька, полночная пора, полночь*. Пейзаж, на фоне которого происходят события, чаще всего ночной: *ночь ненастная настала, ночь холодная настала, ночь настала; месяц всходит*. Но из всех слов с темпоральным значением самые частотные в сказке лексемы, объединенные темой *день*, – 75 случаев словоупотребления [9]. Как нам представляется, это дает ощущение “светлости” произведения и уравнивает его ночные, таинственные, волшебные события.

Многочисленность лексем, указывающих на время суток, и их быстрая смена (утро – день – вечер – ночь) говорят о динамичности сюжета, что соответствует закону жанра сказки.

*Лексика с семантикой предситуации* – это самая большая группа слов с временной семантикой, содержащей явно прочитывающийся элемент локализованности. Функция слов *тут, вот, теперь, между тем* – показать конкретный момент действия, а также указать на то, что сейчас последуют какие-то важные сюжетообразующие события: “Тут Иван-царевич скинул с себя шляпу-невидимку и показался медведю” [5. С. 84]; “Вот пошел он к синему морю;/Видит, – море слегка разыгралось [4. С. 340].

*Лексика с семантикой неожиданности: однажды, вдруг, в одно мгновенье, раз*: “Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она на колодезь за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись, упало ведро в колодезь” [6. С. 151]; “Вдруг в толпе увидел он./В сарачинской шапке белой,/Весь как лебедь поседельый./Старый друг его, скопец” [4. С. 361]. Такие лексемы привлекают внимание читателей к происходящим событиям, часто указывая на новый этап повествования.

Итак, средства выражения времени в рассмотренных нами литературных сказках прочно связаны с фольклорной традицией.

### Литература

1. Аксаков С.Т. Собр. соч. В 3 т. Т. 1. М., 1986. С. 32.
2. Телешов Н.Д. Крупеничка: Сказка. М., 1977.
3. Ершов П.П. Сочинения. Омск, 1950.
4. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 4. Л., 1977.
5. Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI–XVIII века). Л., 1971.
6. Одоевский В.Ф. Пестрые сказки; Сказки дедушки Ириная. М., 1993.
7. Зализняк А.А., Шмелев А.Д. Время суток и виды деятельности // Ключевые идеи русской языковой картины мира. Сб. ст. М., 2005. С. 39.
8. Петрушевская Л.С. Настоящие сказки. М., 1999. С. 10.
9. Шилова Е.В. Лексические средства выражения художественного времени в сказке П.П. Ершова “Конек-Горбунок” // Ершовский сборник. Вып. 2-й. Ишим-Тобольск, 2005. С. 91.

## На ком и почему воду возят?

© Г. Ю. СМЕРНОВА,  
кандидат филологических наук

Русская пословица *на сердитых воду возят* звучит как некое предупреждение кому-то о грядущем тяжелом наказании за необоснованную раздражительность и вспыльчивость [1]. Но даже если рассердившийся человек не вызывает сочувствия, то почему же все-таки на нем *возят воду, а не дрова, не пашут* и не заставляют *валить лес*? Почему наказанию возить воду должны подвергаться сердитые, а не скупые или ленивые? Попробуем в этом разобраться.

Словари русского языка обычно толкуют глаголы *сердить*, *рассердиться* и прилагательное *сердитый* через синонимы *гневить*, *разгневать*, *гневный* соответственно [2]. Словари синонимов также включают в один синонимический ряд слова с корнем *серд-* и *гнев-* [3]. Синонимичность слов с этими корневыми морфемами подтверждается и данными славянских языков [4].

Возможность замены одного на другой у синонимов *гневный*, *гневливый* и *сердитый* как нельзя лучше подкрепляется данными устойчивых словосочетаний (пословиц). В сборнике пословиц XVII века П.К. Симиони встречаются две равнозначные в смысловом и синтаксическом отношении пословицы (представлены в современной записи): *Сердитый с горшками не ездит* и *Гневливый с горшками не ездит* [5]. Смысл пословиц вполне прозрачен: сердитый (или гневливый) человек отличается порывистостью движений, и, безусловно, привезти горшки, не перебив их, ему не удастся.

В Словаре В.И. Даля находим пословицу *На сердитых воду возят на упрямой лошади* [6]. Добавление *на упрямой лошади* усиливает акцент на безуспешности доставки воды с помощью такого транспортного средства. Обычно возить воду в хозяйствах выпадало покладистым, неноровистым, выносливым лошадям, старившимся на тяжелой работе. Нередко водовозная кляча умирала прямо в оглоблях. Сравнение с водовозной клячей используют русские писатели как характеристику покорности: «До конца жизни буду работать, как водовозная кляча» (Голстой. Хождение по мукам); «“Бедовый” таскал баржонки с рыбаками на север, <...> но больше стоял, уткнувшись лбом в берег, как водовозная кляча, и выходили парьё из него последние во все дыры и щели» (Астафьев. Царь-рыба).

Если прилагательные *гневливый* и *сердитый* в приведенных нами пословицах заменяются без ущерба смысла, то гипотетически можно обра-

зовать и вариант *На гневливых воду возят*. И в таком случае следует внимательно отнестись и к возможным этимологиям слова *гневатися*, первая из которых предполагает родство со словом *огонь* [4], а вторая – со словами *гореть* и *гнетить* (т.е. зажигать, раздувать огонь) [7]. Несмотря на разные этимологии, их сходство заключается в том, что значение корня *гнев* сближают со словами, семантически связанными с понятием огня, огненной стихии. Таким образом, в рамках нашей пословицы соединение понятий, связанных с водой и пламенем, представляется обоснованным и в свою очередь разъясняющим смысл пословицы. Слово *сердитый* по происхождению связано со словом *сердце*. Не случайно в русском фольклоре сердце обычно именуется *ретивым*, то есть скорым на гнев [8]. Согласно христианскому учению, именно сердце являетсяместищем гнева, который считается одним из семи смертных грехов. Поэтому смысл пословицы *На сердитых воду возят* заключается не в предупреждении о грядущем возмездии, а в добром совете или увещании образумиться, вести себя в соответствии с нормами христианской морали, то есть охладиться самому, нежели буквально залить, потушить свой гнев, окатив себя расплескавшейся водой. Подкрепляет гипотезу и вариант пословицы *На сердитых воду возят, да на льду морозят* [9]. (Автор выражает свою признательность профессору В.М. Мокиенко за указанный источник.)

Безусловно, перед нами пример, в котором поддерживаются связи, закреплённые языковой памятью слова. Но современные носители языка могут и разрушать эти связи, толкуя то или иное изречение буквально. Так, пословица *На сердитых воду возят* в своей буквальной интерпретации бытует как исторический факт в музее “Мир воды Санкт-Петербурга”. Нелюбезные, сердитые водовозы подвергались штрафу: им вменялось в наказание за свою грубость и несдержанность развозить воду бесплатно.

Пословица *На сердитых воду возят* редуцировалась до фразеологизма *воду возить*, в значении “обременять кого-л. крайне тяжелой и унижительной работой, беспощадно эксплуатировать кого-л., пользуясь его добрым, покладистым характером” [10]. Управляемым словом может быть предложно-падежная форма одушевленного существительного (разумеется, кроме названий тягловых животных, предназначенных для этой работы: в противном случае фразеологизм превращается в свободное словосочетание) или местоимения, его заменяющего: “Далее мама добавила, что на Диме очень удобно *возить воду* и что тут ничего не исправишь, потому что эта особенность у него врожденная, унаследованная от папы” (Токарева. О том, чего не было); “Брат невесты, тоже маленького роста, Николай Иванович – помощник колхозного бригадира, человек небойкий, малозаметный, но безотказный работяга, из тех работяг, на которых везде *воду возят*, – неторопливо ходил из кухни в горницу, из горницы в кухню...” (Яшин. Вологодская свадьба).

Однако чаще всего в качестве объекта выступают слова с обобщающим значением, нередко представленные субстантивированными прилагательными: «Недаром русская пословица говорит: “на добрых воду возят”. Эта пословица очевидно произошла из опыта. Если у вас есть между рабочими лошадьми замечательно добрая, будьте уверены, никакой присмотр, никакие увещевания не спасут бедного животного от ежеминутных попырок» [11]. Материалы словарей и Национального корпуса русского языка [12] показывают, что воду возят *на дураках, на добрых, на доверчивых, на упрямых*.

Поскольку в качестве объектов выступают слова с обобщенным значением, то фразеологизм, сохраняющий свое значение, структурно разворачивается до пословицы и принимается носителями языка за пословицу. Примечательно и то, что в отличие от рассмотренной пословицы объект не обязательно наделен отрицательными характеристиками (*на добрых, на доверчивых*).

В значении фразеологизма *возить воду* может быть актуализирована оценка работающего человека, который обладает недюжинным здоровьем: “Раньше она любила говорить, что, хоть внешне и неказиста, она из тех, на ком *воду возят*, спасибо родителям, загнать ее трудно; как ни устала, уж, кажется, руки поднять не может – ляжет, вздремнет полчаса и снова будто огурчик” (Шаров. Воскрешение Лазаря).

Употребляется фразеологизм *возить воду* и в отношении человека, который вопреки своему отменному физическому состоянию работает не в полную силу: *Да на (нем, ней, тебе) воду возить!* Однако для такой ситуации характерны разные модальности: легко подставляются слова *можно* или *нужно*. Общий смысл сохранится и при полной замене компонентов: “Да на тебе пахать можно!” (к/ф “Служебный роман”).

Особого внимания заслуживает выражение, в котором присутствует некий субъект, “руководящий” доставкой воды: “Барин раскурил и затынул. – А мерзавец Прошка где? – *На нем черти воду возят...*” (Гиляровский. Москва и москвичи).

Возникновение этой модификации пословицы *На (имярек) черти воду возят*, вероятно, сопряжено с народными поверьями о самоубийцах, превращенных за тяжкий грех в тягловое животное – лошадь или барана, на которых ездят черти или возят воду [13].

Однако в картинах славянского ада нет описаний подобной работы грешников-самоубийц [8]. Пословица *На (имярек) черти воду возят* сходна с паремией *На сердитых воду возят* лишь по наличию ряда компонентов, а в смысловом отношении близка фразеологизму *у черта на куличках*, то есть очень далеко, в неизвестном направлении, вне пределов досягаемости.

Никогда тяжелая работа не сопровождалась такими оценками, как *быстрая, скорая, веселая, азартная*. Обычно выполнение такой работы связано с размеренными, нерезкими, замедленными движениями, требу-

ющими временных затрат. Неожиданным представилось употребление фразеологизма *воду возить* в речи псовых охотников. Во фразеологизме вышел на первый план компонент, связанный с медленным движением, медлительностью.

В “Записках мелкотравчатого” Е.Э. Дриянского (1854) один из охотников, предвкушая азартную травлю собаками матерого русака, говорит друзьям: “Уж русачок, рекомендую, распотешит дружков, если это лишь тот, которым я прошлый год потешался раз до трех. Так уж скажу наперед – одолжит! Будет за кем *повозить воду!*”. А на хвастовство охотника в отношении своей борзой собаки другой замечает: “Разве я не видал твоего редкомаха? За царскими *воду возит*”.

Этот же фразеологизм находим в рассказе “Старый доезжачий” охотничьего писателя Д.А. Вилинского (1892). Один из персонажей, участник пара охоты дает следующую оценку собачьей стае: “И теперь почитай, пара графских впереди, сука на сажень, за ней Туман, а за ним шагах в пяти, наш Ураган, а прочие собаки *воду везут*, только слава что скачут...”.

Значение этого, очевидно, устойчивого сочетания можно обозначить как “медленно передвигаться” или же “медлить там, где необходимо действовать быстро”, исходя же из привязки сочетания *воду возить* к определенной профессиональной сфере (сфере псовой охоты), следует толковать так: “Не отличаться резвостью при поимке зверя”.

Почему в характеристике собак употребляется фразеологический оборот, применимый обыкновенно к людям? В русской культуре нет свидетельств тому, что собак использовали как тягловую силу [14]. Очевидно, любовь псовых охотников к своим питомцам и помощникам столь сильна, что в характеристиках человека и животного не делается никаких различий. Например, для характеристики охотничьей собаки в речи охотника вполне уместны определения, в современном языке относящиеся к человеку, – *вежливая, жадная, сиротливая, справедливая*; для обозначения действий собаки охотники используют глаголы *зажидничать, умничать, перечить*.

В использованном охотниками фразеологизме в его вариантах (*повозить воду, везти воду*) подчеркивается отрицательная характеристика субъекта (борзой собаки). Объектные отношения, необходимые во фразеологизме со значением “обременять работой”, пропадают, а грамматическая характеристика (управление *на ком*) становится факультативной.

Пословица *На сердитых воду возят*, как было нами замечено, говорится в адрес того, кто недоволен чем-либо или безосновательно сердится. Синонимом к словам *сердитый* и *сердиться* также выступают прилагательное *надутый* и глагол *надуться, обидеться* [3]. Народная мудрость получила свое развитие и в ином варианте пословицы *На сердитых воду возят, а на дутых – кирпичи* [15].

Однако все чаще в речи мы видим и слышим новый вариант старой пословицы: “Что, согласно поговорке, возят на сердитых и обиженных?”

(Фоменко. Слабое звено. ТВ. 5-й канал. 20.04.2008); “А на обиженных воду возят, говорит народная мудрость” (О. Симонов. Амбиции, традиции и позиции // Независимая газета. 2003.04.28). Обычно и в студенческой аудитории на вопрос, на ком воду возят, слышится ответ: *На обиженных*.

Этот закрепившийся в речи последних лет вариант поговорки дает серьезный повод для раздумий. Одну из причин закрепления этого варианта можно усмотреть в ослаблении языкового чутья у носителей языка и пренебрежение формальными языковыми признаками, выраженными у субстантивированного (т.е. ставшего существительным) причастия *обиженный*. Со школьных лет известно, что страдательные причастия прошедшего времени (с суффиксами *-енн* или *-нн*) показывают признак по действию, которое совершалось над предметом. То есть *обиженный* – это тот, кого обидели. Почему же человека, которого обидели, нужно обижать и во второй раз, угрожая тяжелой работой водовоза? В противном случае, в присущей поговорке речевой ситуации, следовало бы употребить вариант с действительным причастием – *На обидевшихся воду возят* – или с прилагательным – *На обидчивых воду возят*.

Вторая причина проникновения в нашу речь грамматически необоснованного варианта заключается в жаргонизации русской литературной речи. Слово *обиженный* в тюремном, уголовном жаргоне означает презираемого всеми уголовниками пассивного гомосексуалиста [16]. *Обиженный* – “представитель нижней касты в исправительном учреждении” [17]. Значение высказывания *На обиженных воду возят* целиком совпадает с семантикой фразеологизма *воду возить*, представленной в словарях, за исключением, пожалуй, “доброгo, покладистогo характера”. В большей же степени актуализируется такой компонент значения, как “унизительная работа”.

В высказывании *воду возить* нашло отражение одного из “законов” преступного мира. Но если охотничий фразеологизм *воду возить* не перешагнул границ профессиональной языковой сферы, то выражение *На обиженных воду возят* смело преграды между жаргоном (сферой ограниченного употребления) и литературным языком и упрочивает свое место в современной речи.

### Литература

1. Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1957; Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1991.
2. Словарь русского языка. М., 1981–1984; Современный толковый словарь русского языка. СПб., 2002; Толковый словарь русского языка. М., 1996.
3. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1986; Словарь синонимов русского языка. Л., 1970–1971.

4. Этимологический словарь славянских языков. М., 1979. Вып. 6.
5. *Симони П.К.* Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и пр. XVII–XIX столетий. СПб., 1899. С. 140; С. 92.
6. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. IV.
7. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 2004. Т. I.
8. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 2000. С. 431; С. 17–18.
9. *Разумов А.А.* Мудрое слово: Русские пословицы и поговорки. М., 1957.
10. *Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И.* Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. М., 2005.
11. *Фет А.* Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. М., 2001. С. 86.
12. Национальный корпус русского языка//<http://www.ruscorpora.ru>.
13. *Власова М.* Новая абебега русских суеверий. СПб., 1995. С. 350; *Даль В.И.* Пословицы русского народа. С. 258, 278.
14. О вероятном использовании собак как тягловых животных немецкими обнищавшими крестьянами свидетельствует ряд немецких фразеологизмов. См. *Белкина З.В.* Семантические группы фразеосочетаний с лексемой “собака” в русском и немецком языках // Труды Самаркандского университета. Новая серия. Вып. 339. Вопросы фразеологии. XI. Самарканд, 1977. С. 81–84.
15. *Рыбникова М.А.* Русские пословицы и поговорки. М., 1961.
16. *Мокиенко В.М., Никитина Т.Г.* Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000.
17. *Грачев А.М.* Садиться или присаживаться? // Русская речь. 2007. № 2. С. 121.



## Ни корабля, ни бала

© Г. СКВОРЦОВ

Фразеологизм *с корабля на бал*, который означает резкую смену обстоятельств, происходит из восьмой главы "Евгения Онегина":

И путешествия ему,  
Как все на свете, надоели,  
Он возвратился и попал,  
Как Чацкий, с корабля на бал.

Здесь Пушкин сравнивает возвращение Евгения Онегина из путешествия с приездом в Москву героя комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума" Чацкого. Чацкий говорит, что отмахал "верст больше седьмисот", расстояние, примерно соответствующее пути от Петербурга до Москвы. Софья уверяет его, что во время путешествия он был часто вспоминаем ею:

Кто промелькнет, отворит дверь,  
Проездом, случаем, из чужа, из далека –  
С вопросом я, хоть будь моряк:  
Не повстречал ли где в почтовой вас карете?

"Семьсот верст" и "моряк" вроде бы позволяют заключить, что Чацкий действительно "с корабля", то есть прибыл в Петербург водным путем и незамедлительно поскакал в Москву.

Однако обратим внимание на две другие цитаты из комедии – на слова Фамусова из второго действия и ремарку автора из четвертого.

Сергей Сергеич, к нам сюда-с,  
Прошу покорно, здесь теплее;  
Прозябли вы, согреем вас;  
Отдушничек отвернем поскорее.

Графиня внучка (*покуда ее укутывают*)...

Эти два места из комедии позволяют утверждать, что ее действие происходит зимой. А коли так, то прибытие Чацкого в Петербург “кораблем” представляется маловероятным, потому что восточная часть Балтийского моря, включая Финский залив, и река Нева с декабря по апрель покрыты льдом.

Значит прав Владимир Набоков, полагавший, «что “с корабля на бал” не имеет географического смысла, оставаясь просто литературной формулой, позаимствованной из “Горя от ума”, где “корабль” тоже своего рода метафора» (Владимир Набоков. Комментарии к “Евгению Онегину” Александра Пушкина. М., 1999. С. 717). Здесь он, к слову сказать, не совсем прав: слово *корабль* в “Горе от ума” не встречается вообще.

То, что наш фразеологизм – лишь литературная формула, подтверждает не только первое его существительное *корабль*, но, строго говоря, и второе – *бал*. Ведь происходящее в третьем действии пьесы это отнюдь не бал, а, по словам Софьи, *вечер с танцами*:

...Съедутся домашние друзья  
Потанцевать под фортепьяно, –  
Мы в трауре, так балу дать нельзя.

Таким образом, оказывается, что на самом деле Чацкий *попал* и не *с корабля*, и не на *бал*.



## О нераскрываемых инициалах

© Н. А. ЕСТЬКОВА,

кандидат филологических наук

Один из авторов знаменитой “Республики Шкид” – Л. Пантелеев. Инициал *Л.* не соответствует никакому имени. Приведу ряд цитат: “ПАНТЕЛЕЕВ Л. [псевд.; наст. имя – Алексей Иванович Еремеев...]” (Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. 1968); “Работая с Маршаком, общаясь с ним, учась у него, выросли замечательные писатели – <...> Л. Пантелеев (не Леонид, как пишет Капица, не Леопольд, не Ларион, не Лев, а Л. Пантелеев)...” (А. Любарская. Хуже, чем ничего [по поводу воспоминаний П. Капицы о Маршаке] // Нева. 1989. № 1. С. 208); “Его имя в литературе – Л. Пантелеев (при этом инициал не расшифровывается)...” (Владимир Глоцер. Предисловие к публикации: Л. Пантелеев. Я верую // Новый мир. 1991. № 8. С. 132); «Упомянутое сочинение, подписанное псевдонимом Леонид Пантелеев (“Криминальное чтиво по-русски”), авторы гневуются: “И не совестно же перед памятью Леонида Пантелеева”. Понимая, кого они имели в виду, сообщают, что литературное имя ленинградского писателя Алексея Ивановича Пантелеева было “Л. Пантелеев”. “Л” и точка. Он очень обижался, когда заглавную букву растягивали в некое имя. Помню, эта отнюдь не малозначительная для литератора неточность прокралась даже в некролог» (Новый мир. 2004. № 2. С. 234).

Но разъяснения не помогают. В конце августа 2008 года отмечалось столетие писателя. “Литературная газета” откликнулась на него уже в начале сентября (в № 35) репликой Владимира Глоцера “Навет” – по поводу некоторых несправедливых высказываний о Л. Пантелееве в передаче на “Эхе Москвы”. Попутно он замечает: “Напоминать, что Пантелеев никогда не был, как именovala его ведущая и гость передачи се не поправлял, Леонидом, я не буду. Уже давно все знают (выделено мной. – Н.Е.), что Л. в псевдониме Л. Пантелеев – нерасшифровываемый инициал”.

Увы, это знают далеко не все. Передача на канале “Культура”, приуроченная к столетию писателя, названа в телепрограммах “Леонид

Пантелеев”. А “Известия” от 22 августа 2008 года сообщили: “Сегодня исполнилось сто лет со дня рождения Леонида Пантелеева”.

Математик Елена Сергеевна Вентцель стала в шестидесятые годы прошлого века известной писательницей И. Грековой. «И псевдоним ее следовало понимать как математическую шутку: если убрать точку после “И”, получается “Игрекова»» (Р. Зернова. Долгожданная встреча. Послесловие к опубликованному с большим опозданием роману “Свежо предание”. М., 1997. С. 249).

Этот “мнимый” инициал не раз расшифровывали как *Ирина*. «Те, кто любит, знает творчество писательницы Ирины Грековой, помнят, конечно, каким событием в литературной жизни стала ее повесть “Вдовий пароход”, когда ее опубликовал журнал “Новый мир»» (Известия. 1989); «...в основу сценария [фильма “Благословите женщину” Станислава Говорухина] положена повесть Ирины Грековой...» (Лит. газета. 2004). Можно привести еще ряд таких высказываний.

А пытался ли кто-нибудь “расшифровывать” инициал в составе псевдонима *Н. Щедрин*? Этот псевдоним без инициала мы привыкли видеть в сочетании с настоящими инициалами и настоящей фамилией — М.Е. Салтыков-Щедрин.